



СЕРИЯ  
“ЧУЖЕСТРАНЦЫ”

НАТАЛИЯ ИЛЬИНА

# Дороги и судьбы

**ШЕ**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ИМЕНА ШОКОЛАДА

# Наталия Иосифовна Ильина

## Дороги и судьбы

### Серия «Чужестранцы»

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=68756397](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68756397)*

*Н. И. Ильина. Дороги и судьбы: ООО «Издательство АСТ»; Москва;*

*2022*

*ISBN 978-5-17-148000-4*

### **Аннотация**

В книге “Дороги и судьбы” отражен весь XX век. Наталия Ильина (1914–1994) родилась в Петербурге, в семье царского офицера и дворянки из рода Воейковых, после революции семья эмигрировала в Харбин; в 1947 году в числе репатриантов Ильина вернулась в Россию, где стала известным прозаиком, но всю жизнь вынуждена была отвечать на вопрос: “Почему вы вернулись в Россию?” С редкой откровенностью и горькой самоиронией Наталия Ильина пишет об истории семьи, харбинской и московской жизни, обстоятельствах возвращения в СССР из Китая, встречах с Александром Вертинским, Анной Ахматовой, Корнеем Чуковским и о супруге, известном лингвисте Александре Реформатском.

Книга дополнена новыми материалами – воспоминаниями членов семьи Наталии Ильиной.

В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

# Содержание

Предисловие	5
“Дядюшка профессор” и дядя Александр Дмитриевич	17
Мать Екатерина Дмитриевна	70
Конец ознакомительного фрагмента.	122

# **Наталия Ильина**

## **Дороги и судьбы**

© Ильина Н. И., наследники

© Жобер В. П., вступительная статья

© Бондаренко А. Л., художественное оформление

© ООО «Издательство АСТ»

**\* \* \***

# Предисловие

Имя Наталии Ильиной хорошо было известно советскому читателю последних трех десятилетий существования Советского Союза, причем людям самых разных возрастов. Каждая ее публикация вызывала многочисленные отклики – об этом свидетельствуют сотни писем, отправленных ей со всех концов СССР. Нынешнего читателя необходимо познакомиться с ее удивительной судьбой. Ильина умерла в самом начале 1994-го, через два с небольшим года после распада СССР. Она была чуть ли не первой и единственной, затронувшей тему русской эмиграции в Китае, когда в настоящее время этой теме посвящены многочисленные публикации, исследования и конференции.

Наталия Ильина родилась в Санкт-Петербурге в мае 1914 года за несколько месяцев до начала Первой мировой войны, сыгравшей роковую роль для всех стран Европы и в первую очередь для России. А ее младшая сестра, Ольга, родилась уже в Петрограде в самый разгар Февральской революции. Их родители, симбирские дворяне, сочувствовавшие кадетской партии, приветствовали Февральскую революцию 1917 года. Дальнейший ход событий, увы, не оправдал их надежд. Бабушка Ольга Александровна Воейкова с дочерьми Катей и Марой и четырьмя малолетними внуками встретила Ок-

тябрьскую революцию в родовом имении Самайкино Симбирской губернии. Отец, Иосиф Сергеевич Ильин, офицер царской армии, в трудных и весьма опасных условиях, царивших в разлагавшейся армии, покинул свою часть на Юго-Западном фронте в Житомире, где он работал инструктором в школе для прапорщиков, и сумел воссоединиться с семьей.

В июне 1918 года И. С. Ильин, остро и рано осознавший опасность, грозившую семье, да и всем дворянам и помещикам, принял решение срочно уехать с семьей в Самару, где обосновался Комуч (Комитет учредительного собрания). Там собирались силы, пытавшиеся противостоять большевикам. Настояв на немедленном отъезде семьи, вопреки мнению и желанию многих родных, он спас свою семью. Оставшиеся же в соседнем имении Репьевка их родственники из семьи Мертваго были убиты на следующий день после отъезда Ильиных.

Осенью 1918 года семья Ильиных вслед за белой армией Колчака двинулась на восток. Начались долгие скитания по Сибири, в вагонах, в случайно снятых квартирах. В Омске мать Наталии Иосифовны заболела тифом и чудом спаслась, была эвакуирована в вагоне Американского Красного Креста. После окончательного разгрома белой армии и казни Колчака в Иркутске Ильины бежали дальше на восток и в конце концов обосновались в Китае – в Маньчжурии, в Харбине. Это был уникальный русский город, возникший в Китае в конце XIX века в связи со строительством Китай-

ско-Восточной железной дороги (КВЖД).

В феврале 1920 года вся семья Ильиных вместе с няней оказалась в Харбине. На этом кончается весьма интересный и подробный дневник Иосифа Сергеевича, начатый в 1914-м. Эти воспоминания сохранились. Он их передал в 1938 году в “Правда” архив эмиграции, а сейчас они находятся в ГАРФе. В 2016-м вышла наконец книга “Скитания русского офицера”.

Итак, с 1920 года для Наталии Ильиной начинается новая жизнь в эмиграции, в далеком Китае. В Харбине прошли ее детство и юность в русской среде. Она училась в русской школе, где образование было таким же, как в России. В городе издавались русские газеты и журналы, на гастроли приезжали знаменитые русские певцы и актеры. Харбин считался русской столицей Азии, так много в нем проживало русских. Это были не только беспаспортные белоэмигранты, к числу которых принадлежала семья Ильиных, но и многочисленные русские, приехавшие строить КВЖД, торговцы, предприниматели, поселившиеся там до революции. Могло казаться, что это уголок России, куда в двадцатые годы в своем большинстве еще надеялись вернуться белоэмигранты.

В тридцатые годы обстановка резко изменилась. Во-первых, из-за развода родителей в 1930 году жизнь девочек Ильиных, Наталии и ее сестры Ольги, становилась все тяжелее. Отец не помогал семье, непрактичная мать пробивалась переводами, разными уроками, чтобы вырастить своих до-

чек, но вечное безденежье угнетало. Затем вторжение японских войск в Маньчжурию и создание марионеточного государства Маньчжоу-Го сделало существование русских в Харбине весьма проблематичным. Остро чувствовались бездомность, безнадежность этой эмигрантской жизни.

В конце 1936 года Наталия Ильина навсегда покинула Маньчжурию. Как и многие ее русские сверстники, она поехала в Шанхай, где тоже жила крупная русская колония, а главное, было больше возможностей найти работу.

Здесь тоже пришлось перебиваться случайными заработками, в частности в разных газетах, русскоязычных изданиях, как “Шанхайская Заря”, в которых будущая писательница писала короткие очерки, фельетоны под разными псевдонимами, например Мисс Пэн, и даже завоевала себе некоторую достойную репутацию. Но именно в Шанхае не только она, но и ее близкие друзья, братья Лундстремы, Виталий Серебряков, Юра Сдобников, Николай Щёголев по-настоящему ощутили всю безнадежность эмигрантского существования.

Гражданская война в Китае, а затем нападение Японии на Китай, разразившаяся между ними война, естественно, усложнили и без того трудную жизнь для русских, не имевших надежного тыла, как другие иностранцы, например французы и англичане, которые жили в иностранных концессиях Шанхая и всегда могли вернуться на родину.

С началом Второй мировой войны в 1939 году в Европе,



Великой Отечественной в 1941-м в СССР, русское население Шанхая делится на два лагеря. Наталия Ильина, как и ее уже упомянутые близкие друзья, осознавшие, что “Родина в опасности”, стремятся ее защитить и охотно внимают пропаганде советского консульства в Шанхае. Многие принимают советское гражданство. В 1946 году создаются Общество граждан СССР в Шанхае, Союз возвращенцев, Советский спортивный клуб. Наталия Ильина, как и ее мать, принимает советское гражданство.

В эти годы Ильина активно работает журналистом. Она становится членом Объединения советских журналистов и литературных работников при Обществе граждан СССР, сотрудничает с газетой “Новая жизнь”, служит в 1944–1945 годах в шанхайском отделении ТАСС. В 1946-м в Шанхае выходит в свет книга “Иными глазами”, где собраны фельетоны, написанные ею с 1942 года в просоветски настроенных газетах.

И вот 30 ноября 1947 года, вслед за своими друзьями, Наталия Ильина отправляется в СССР с пятой и последней группой репатриантов на советском пароходе “Гоголь” в Находку. Оттуда ей посчастливится попасть в Казань, где ее ждут друзья Лундстремы. Там она будет работать стенографисткой в разных советских учреждениях, одновременно готовясь в 1948 году к вступительным экзаменам в Литературный институт имени Горького. Первый год она будет учиться в нем заочно, а затем переедет в Москву. Диплом получит 14

ноября 1953 года с присвоением квалификации литературного работника. Ее мечта стать русским писателем сбудется. В первые годы жизни в столице она пишет фельетоны в журнале “Крокодил” и одновременно роман на “заданную тему” “Возвращение” (первая часть выйдет в 1957-м). “Возвращение” было также темой ее дипломной работы, за которую она получила отметку “отлично” в Литературном институте. Это позволит ей 15 января 1958 года вступить в Союз писателей, без которого путь в советскую литературу был бы ей закрыт, и закрепиться в Москве, куда в 1954-м вернется из Шанхая ее мать, Екатерина Дмитриевна Ильина.

Только в 1961 году впервые приехала из Парижа в Советский союз ее сестра Ольга с дочерьми. С ней Наталия Ильина рассталась в 1942 году, а теперь познакомилась со своими племянницами Вероникой и Катей.

В шестидесятые годы Наталия Ильина становится популярным писателем-сатириком, пишущим острые фельетоны, высмеивающие советский быт. Но после смерти матери в 1965-м она переходит к новому жанру – автобиографической прозе. Ее встречи, знакомство и дружба с незаурядными личностями, благодаря которым она по-новому смотрит на окружающую ее действительность, становятся материалом для рассказов, публиковавшихся в таких толстых журналах, как “Октябрь”, “Знамя”, “Новый мир”. Семейный архив, унаследованный от матери, с которым она постепенно

знакомится, также послужил темой ее новых публикаций.

“Дороги и судьбы” – это не мемуары (Наталия Иосифовна вообще не жаловала этот термин), а автобиографическая, в какой-то мере исповедальная проза, которая позволяет лучше понять трагическую судьбу русских эмигрантов.

Что побудило ее вернуться на родину в конце 1947 года? Безднадежность эмигрантского беспаспортного существования сыграла несомненно большую роль в ее решении. Но к этому надо добавить ее литературное призвание. На вопрос “С чего начинается родина?” она твердо отвечала “С языка”. Этим и объясняется ее твердое решение поступить во что бы то ни стало в Литературный институт.

Поехала она в Советский Союз, как и ее друзья, полная надежд, готовая смотреть на все сквозь розовые очки, позже она сама будет говорить о тогдашнем своем “лучезарном отношении к окружающему”. И ей понадобится немало лет, чтобы отрезветь и вникнуть в суть происходящего вокруг. В этом ей помогли незаурядные личности, с которыми она познакомилась уже в Советском Союзе, в своей автобиографической прозе она им посвятит отдельные главы. Это, в частности, ставший ее мужем профессор Реформатский. Смена убеждений проходила долго и мучительно. “В душе моей шла переоценка ценностей”, – пишет она. Она вспоминает, как продолжала думать, что Ахматова и Пастернак “оторвались от жизни, <что> их стихи эпохе не созвучны”, но смущал тот факт, что Реформатский их считал лучшими поэта-

ми России. Она многому удивлялась, была наивна, ее товарищи по Литинституту даже ее сторонились, настолько она себя порой неосторожно вела. В пятой группе репатриантов, в которую она попала, со свойственной ей энергией и резкостью она активно занималась политагитацией среди тех, кто впадал в уныние и критически относился к суровой действительности, с которой они столкнулись, как только высадились из корабля в Находке. Вместе со своими шанхайскими друзьями-репатриантами она пыталась вписаться в окружающий мир. Они все отказывались “хныкать”, правда, не все доходили до фанатизма Юрия Сдобникова. В книге, изданной в Москве в 2004 году к десятилетию со дня смерти Наталии Ильиной “И только память обо всем об этом...” Олег Лундстрем напишет о ней воспоминания и даст своему рассказу следующее название: “Почему мы не стали нытиками...”.

Перечитывая свои письма к матери, написанные из Советского Союза в Шанхай, где та оставалась до 1954 года, Наталия Иосифовна искренне удивлялась своему тогдашнему непониманию, ей даже плохо верилось, как это она могла писать такие восторженные письма. Видимо, она не столько оглядывалась на цензуру, сколько самоубеждалась, дабы не потерять окончательно надежду, да еще успокоить мать. Ведь надо было за что-то держаться и надо было выписать мать из Шанхая.

Попав в Казань, чтобы начать новую, советскую жизнь,

Ильина должна была не впадать в отчаяние, самоуверяя себя каждую минуту о правильности своего выбора. В главе “Моя неведомая земля” из книги “Дороги и судьбы” она приводит свои первые впечатления в Казани и выписывает цитаты из своих тогдашних писем матери. Ее поражает увиденное, когда она попадает в Москву и в Ленинград. Чувство причастности к своему народу и искренний патриотизм сыграли, конечно, огромную роль в ее судьбе и объясняют избранную ею дорогу.

Недаром, как мне кажется, именно эту главу выбрала профессор Адель Баркер, чтобы включить ее в вышедшую в 2010 году в Америке антологию русских текстов *The Russian Reader*. Патриотизм русского человека, воспитавшегося на русской литературе, неизбежно побуждает найти свое место среди своих, а не чужих. Этим и объясняется возвращение многих эмигрантов в Советский Союз.

На самом деле в 1957 году (когда выходит первая часть ее романа “Возвращение”) она уже многое поняла. В ее архиве нашлись записи, сделанные ровно через десять лет после ее приезда в Советский Союз. Именно эти записи послужили канвой для оказавшейся последней главы ее автобиографической прозы. Эта публикация, уже посмертная, называлась “Тихий океан” и вышла в “Вопросах литературы” в январе 1994 года после смерти Ильиной. Перестройка, новая Россия, внезапная возможность говорить всю правду оказались мощным толчком для нового переосмысления пройденного

пути. Ее поездка в Америку в университет, куда ее пригласили читать лекции, стала поводом для написания “Тихого океана”. Очутившись на другом, американском берегу океана, с которого начался ее путь на родину почти пятьдесят лет назад, она возвращается к этим годам, и в частности к своим записям 1957-го.

В последнее полное издание автобиографической прозы Наталии Ильиной 2014 года включена глава “Тихий океан”. На самом деле, это должно было стать не последней, а скорее первой главой нового цикла автобиографической прозы, который она хотела назвать “Второе возвращение”, но не успела написать.

В архиве Наталии Иосифовны оказалось много интересных документов, с которыми стоит ознакомить читателя. Они удачно дополняют то, что она успела издать при жизни.

В главе “Третье поколение” Наталия Иосифовна Ильина приводит отрывки из воспоминаний своей двоюродной сестры Муси, умершей от чахотки в двадцать лет. “Мусины воспоминания” – это несколько машинописных страничек, затерявшихся в богатом семейном архиве, который мать Наталии Иосифовны сумела привезти из Шанхая в Москву. Е. Д. Воейкова в апреле 1954 года пишет дочери: “Вот Мусины [воспоминания] мне бы хотелось до тебя довести. Талантливо она описывает свое детство.

Бедная наша Мусяка”.

Наталия Иосифовна не могла простить отца, который бро-

сил семью в 1930 году и больше никогда не помогал им. Несмотря на настойчивые уговоры сестры, она не хотела отвечать на его письма, присланные из Швейцарии, где он поселился в 1956 году. Только после его смерти в 1981 году, разбирая в очередной раз семейный архив, найдя детские свои письма отцу, она написала главу автобиографической прозы и о нем. Это вышло впервые в 1987 году в журнале “Октябрь”. В настоящем же сборнике публикуется также трогательный рассказ Иосифа Сергеевича Ильина “Апа”, посвященный в 1926 году дочерям Наталии и Ольге.

Последняя же глава “Тихий океан” дополняется неопубликованными прежде архивными материалами. “Десять лет спустя” – это записи, сделанные в 1957 году.

Кроме того, в ее архиве нашлись черновые записи на семи разрозненных листах, напечатанных на оборотах, со множеством рукописных пометок. На последней странице объяснение: “Я написала эту *предысторию*, чтобы было понятно, какие у меня были настроения”.

Наталию Ильину в последние годы ее жизни, в разгар гласности и перестройки, очень раздражали недоуменные вопросы, непонимание молодых журналистов, бравших у нее, как и у других репатриантов, интервью. В 1988 году в журнале “Огонёк” вышла ее статья под названием “Здравствуй, племя младое, незнакомое”, имевшая тогда большой резонанс и не потерявшая актуальности по сей день. В ее архиве хранятся десятки писем читателей, бережно сложенных в одной

папке.

Писательница, встретившая с большой надеждой крах коммунизма и развал Советского Союза в 1991 году, готовилась написать продолжение автобиографии. Она должна была называться “Второе возвращение” и осветить ее жизненный путь для тех поколений, которые плохо разбираются в сложных исторических потрясениях XX века.

Как известно, писательница не успела осуществить свою мечту, занимавшую ее последние годы. Очень хотелось бы, чтобы эта новая публикация в какой-то мере восполнила этот пробел.

*Вероника Жобер (Véronique Jobert)*

*Июнь 2022*



# **“Дядюшка профессор” и дядя Александр Дмитриевич**

Трудно себе представить двух людей, столь не похожих друг на друга, как мой прадед Иван Федорович Воейков и его старший брат Александр.

Иван Федорович был смолodu на военной службе, в чине полковника дрался на Отечественной войне 1812 года, а затем, оправившись после тяжелого ранения, вышел в отставку, занялся хозяйством. Хозяйствовал умело. В родовом имении Самайкино (около Сызрани) и в подмосковной усадьбе Аннино-Знаменское (около Рузы) основал суконные фабрики. Связи с правительственными кругами (Воейковы – род старинный, дворянский) обеспечивали казенные заказы, и фабрики давали хорошие барыши. Был затем прадедом открыт и асфальтовый завод в местечке Батраки, там же на Волге. Отцовское наследство Иван Федорович не промотал, приумножил. По характеру домосед, спиртного в рот не брал.

Брат же его Александр Федорович, литератор, автор знаменитой в те времена сатиры “Дом сумасшедших” (цензурой не пропущенной, ходившей в списках), был и пьяница, и картежник, и мот. Обманщик к тому же. Решив жениться на Александре Андреевне Протасовой (любимая племян-

ница Жуковского, Светлана в его известной балладе), Александр Федорович скрыл от семьи невесты, что успел промотать большую часть отцовского наследства. Женившись, начал мотать приданое жены и так в этом преуспел, что жить было уже не на что, пришлось искать службу.

При помощи Жуковского Александр Федорович получил должность профессора в Дерпте (ныне Тарту), но к лекциям готовиться ленился, со всеми переругался (характер, по общим отзывам, прескверный!) и всем задолжал. Хотел было из Дерпта сбежать, но кредиторы не пустили. Выручил его деньгами и поручительством брат Иван.

Беспутный Александр Федорович так утешал своих дочерей: “Я вам ничего не оставляю, но у вас есть богатый холостой дядюшка!” Этих корыстных надежд Иван Федорович не оправдал. Чуть не шестидесяти лет от роду женился на дочери сенатора Дмитрия Борисовича Мертваго Варваре, и брак этот бездетным не был: один за другим родились два сына – Александр и Дмитрий.

В семейном альбоме я нахожу лишь две фотографии моего деда Дмитрия Ивановича. На одной это еще совсем молодой человек, темноволосый, кареглазый, с пухлыми губами, слабым подбородком и добродушно-задумчивым выражением лица. На второй Дмитрий Иванович снят с двумя своими средними детьми (детей было шестеро) – Димой и Катей. Кате года полтора, она у отца на коленях. Диме года четыре, стоит, держась за поручень кресла (кресло старин-

ное, низкое, в чехле с бахромой), прислонился головенкой к плечу отца. Здесь Дмитрию Ивановичу уже за сорок. Так же откинута назад темные волосы, открывая высокий лоб, но пухлые губы скрыты усами и бородой, в глазах усталость.

Я мало знаю о своем деде, он умер, когда матери моей было всего девять лет, и сведения о нем я черпаю сейчас из книги А. Тимашева, посвященной А. И. Воейкову<sup>1</sup>. Там сказано, что младший брат знаменитого климатолога учился в Германии, затем служил в Петербурге, дойдя до чина действительного статского советника, и одновременно занимался журналистикой: писал статьи по экономическим вопросам в газете “Русь”, издававшейся славянофилом Иваном Сергеевичем Аксаковым. В справочниках того времени Д. И. Воейков назван “экономистом”.

Дмитрий Иванович придерживался более либеральных взглядов, чем Аксаков, высказывался за всеобщее наделение крестьян землей, за укрепление земств и против расширения “области казенного хозяйства”.

А еще в своих статьях Дмитрий Иванович клеймил взяточничество и злоупотребления, утверждал, что в России не умеют или не желают ничего толком организовывать, с горечью восклицая: “Мы ухитряемся голодать чуть ли не на пристанях, заваленных хлебом!”

Выйдя в отставку, он поселился с семьей в Самайки-

---

<sup>1</sup> Тимашев А. Воейков. М., 1957. – Здесь и далее примечания автора (если не указано иное).

не, мечтая посвятить себя хозяйственно-предпринимательской деятельности. И ничего-то из этих мечтаний не вышло! Предприятия его лопались, хозяйство не приносило доходов. А ведь было огромное имение (11 тысяч десятин!), суконная фабрика, асфальтовый завод – богатство! Но во время хозяйствования “экономиста” Дмитрия Ивановича асфальтовый завод работал в убыток, неблагополучно обстояло дело и с фабрикой. Ее Дмитрий Иванович вскоре продал богатому купцу Акчуруну, и мне почему-то кажется, что фабрика, занимавшая, кстати, самую плодородную часть имения, Акчуруну приносила отличные доходы: был конец века, на смену Раневским шли Лопахины...

Не унаследовал Дмитрий Иванович хозяйственной жилки отца! Но, как отец, всю жизнь трудился, был примерным семьянином, домоседом, спиртного в рот не брал. Умер рано, едва дожив до пятидесяти трех лет. Вдова его, моя бабушка Ольга Александровна, осталась с шестью детьми в возрасте от шести до шестнадцати лет и огромным хозяйством, хозяйством запущенным, в долгах. Пришлось ей возиться с банками, векселями и прочими делами, к которым приучена она не была. И тут на помощь пришел брат ее покойного мужа – Александр Иванович.

В скитальческой судьбе моей матери, в этих вечных переездах с квартиры на квартиру в Харбине, в Шанхае, наконец – в Москве, менялся пейзаж за окном, менялись стены, мебель, столы, но на этих сменяющихся столах неизменными

оставались две фотографии – Ольги Александровны и Александра Ивановича Воейковых. Обе открыточного размера, обе в одинаковых деревянных рамках – они сейчас у меня, на моем столе, всегда перед глазами.

Александр Иванович, прозванный воейковской няней “дядюшка профессор”, заменил моей матери, ее братьям и сестре отца. Он скончался в 1916 году, и я его, значит, должна была видеть, но, разумеется, как бы и не видела, не помню совсем. На фотографии он сидит в деревянном полукресле, нога на ногу, крупная высоколобая голова с лысиной, окруженной нимбом светлых летящих волос, слегка откинута... Нос с небольшой горбинкой, губы закрыты усами, слившимися с бородой, а глаза за маленькими круглыми стеклами старинных очков с длинными дужками устремлены куда-то вдаль... Мне, всю жизнь знающей эту фотографию, нелегко увидеть ее свежим глазом, но я убеждена, что каждый, взглянув на эту фигуру, на эту голову, даже на эту позу, скажет: ученый, чудака, бесребреник.

За пятьдесят один год своей научной жизни Александр Иванович опубликовал около 1400 работ – книг, статей, рефератов, рецензий, заметок, в их числе не менее 400 крупных произведений, из которых главное “Климаты земного шара и в особенности России”. Одни названия его трудов занимают более 60 страниц печатного текста. За последние пять лет жизни, шагнув уже в восьмой десяток, Александр Иванович опубликовал 95 работ.

Я их не читала, говорить об ученых заслугах Александра Ивановича не могу. Но тут и без меня все сказано: о первом русском климатологе написано много сочинений. Все они специальные, моему пониманию не доступные. Но есть книга, упомянутая выше, где автор А. Тимашев популярно рассказывает о Воейкове и как об ученом, и как о человеке.

Опираясь на эту книгу, а также на неопубликованные записки моей матери, я попытаюсь дать ну не портрет, а хотя бы карандашный набросок фигуры “дядюшки профессора”, человека удивительного и очень, мне думается, русского...

Мать пишет: “А. И. Воейков, так же как и друг его Д. И. Менделеев, не был академиком... И вообще в царской России дядюшка профессор пользовался куда меньшей известностью, чем наш дальний родственник В. Н. Воейков, ничем не отличившийся, кроме своей близости ко двору Николая II”.

Все почести, вся слава – памятник, село и обсерватория, названные именем Воейкова, и пролив в архипелаге Курильских островов, и ледник на Северном Урале, тоже его имя носящие, – все это пришло к Александру Ивановичу лишь после смерти, что, видимо, обычно для наших широт, где, по слову Пушкина, “любить умеют только мертвых”.

Как бы, вероятно, изумился своим посмертным почестям этот скромнейший, деликатнейший человек, при жизни своей даже академиком не ставший и избранный в члены-корреспонденты лишь на шестьдесят девятом году жиз-

ни. Писал, изобретал, делал открытия, путешествовал, учился, учил других, помогал всем, кому мог, взвалил на свои плечи огромную семью брата, а сам жениться не успел...

Тимашев пишет: “В девяностых годах Дмитрий Иванович серьезно болел... Когда он умер, Александр Иванович перевез из Самайкина в Петербург вдову брата Ольгу Александровну и шестерых детей. Снял большую квартиру...”

“Дядюшка профессор (пишет моя мать) жил на Васильевском острове в уютной квартирке. Все заботы его лакея Александра и кухарки Татьяны были направлены на то, чтобы как можно лучше организовать жизнь профессора. Но вот в 1896 году умирает его единственный брат, мой отец. Дядя не колеблясь решает бросить свой налаженный быт (утренние занятия, вечерние беседы с друзьями учеными – дядя любил принимать у себя гостей!) и, наняв большую квартиру, собирает под этим кровом осиротевшую семью. Я очень помню апрель 1897 года, когда в нашем деревенском доме только и было разговоров о предстоящем переезде в Петербург. Соседи-помещики советовали матери остаться в Самайкине, девочек отдать в институт, мальчиков – в корпус. Но письма дяди были настойчивы. Он считал, что семья должна жить вместе. И он, мне кажется, не хотел, чтобы племянники его учились в закрытых учебных заведениях...

И вот осенью того же 1897 года мы очутились в десятикомнатной квартире на третьем этаже дома Анрепа (Лиговка, 3). Напротив – большое здание евангелической боль-

ницы, где за окнами проплывали белые крахмальные чепцы лютеранских сестер милосердия, а в половине девятого утра раздавался звон церковного колокола. Из нашей квартиры был также виден Озерной переулок и поодаль – гимназия Я. С. Гуревича, куда поступили мои братья Александр и Дмитрий”.

“Стало шумно и людно. Создавалась трудная обстановка для научных занятий”, – сухо сообщает Тимашев.

“Шесть человек детей, гувернантка, учителя, – пишет моя мать. – Куклы, забытые девочками на столе профессора, шумные игры, а подчас и баталии мальчиков. Дядюшка переносил все это с ангельским терпением... Когда мы подросли, для нас дважды в год устраивались вечера. Спальни превращались в гостиные, большая гостиная очищалась от мебели, по стенам расставлялись взятые напрокат золоченые стулья, в кабинете дяди ставили столы для ужина родителей – в те годы молодые девушки ездили на вечера только в сопровождении старших... Собиралось до восьмидесяти человек, танцевали до трех утра. Дядя заранее узнавал о том, когда предполагается фестиваль, и скрывался на свою дачку в Финляндии, в Мецеkjюля (ныне Рощино). Скромный домик этот стоял на пригорке и был окружен сосновым лесом. Неподалеку – дачи профессора Бехтерева, профессора Введенского, профессора Лебедева, а дальше, по Черной речке, – Леонида Андреева и семьи Лозинских. Меня, помнится, беспокоило, что все эти дачи носили громкие имена (профессор Ле-



бедев, например, назвал свою виллу Бориваль, а доктор Шапиров – Лауторанто), и я все приставала к дяде, предлагая для его дачи звучное, казавшееся мне очень красивым название Изобары, но дядя как-то отмалчивался... Купил он этот дом, чтобы иметь тихое убежище, но во время зимних и весенних каникул туда врывались мы, племянники, и убежище сразу переставало быть тихим... Но никогда не только слова упрека, но даже – недовольного лица. Самое удивительное, однако, вот что... Лишь после кончины дядюшки нам стало известно, что он нанимал комнату на Малой Итальянской (ныне улица Жуковского) и с утра уходил туда, взяв книги. Мы-то были уверены, что он занимается в университете, и понятия не имели, что рабочий его кабинет тут же, рядом, недалеко от нашей квартиры...”

У Тимашева читаю: “На похоронах Воейкова к Ольге Александровне подошла какая-то старушка: «Куда отвезти вещи и книги Александра Ивановича?» – «Какие книги?» – «Да ведь он много лет снимал у меня комнату и почти каждый день приходил туда заниматься»”.

Ни приказывать не умел этот человек, ни распоряжаться, ни тем более упрекать. Изъяснялся в форме полувопросительной, в наклонении условном... “Не находите ли вы, что ваша статья очень бы выиграла, если б к ней добавить некоторые мысли?” “Как бы вы отнеслись (спрашивал он подчиненного) к возникшей у меня мысли командировать вас на некоторое время туда-то?” К студенту, провалившемуся на

экзамене, обращался как к ученому-коллеге: “Я хотел бы еще раз встретиться с вами, чтобы побеседовать на затронутые сегодня темы”. Полагаю, что слова эти Александр Иванович произносил голосом смущенным, стыдясь неудачи студента больше, чем сам студент...

Подмосковной усадьбы Аннино-Знаменское не было уже давно: ее Александр Иванович продал, когда понадобились деньги на трехлетнее путешествие по двум Америкам, Северной и Южной, и по Азии. Прогдал, уехал. А в сарае остались лежать вещи, в продажу не входившие: старые портреты, серебряная посуда, столовое белье. “Так все и пропало, – говорит моя мать, – дядя уехал и забыл, а отец тоже был чем-то занят и тоже забыл...”

И это сыновья хозяйственного Ивана Федоровича!

В 1906 году женится старший племянник Александр, и “дядюшка профессор” несет в столовую свои громадные географические атласы и вместе с племянником тратит вечер на обдумывание маршрута свадебного путешествия молодых, а затем вручает большую сумму денег на оплату этого путешествия.

Моей матери, тогда курсистке-бестужевке, захотелось взять абонемент на вагнеровские оперы в Мариинском театре. Услышав об этом, Александр Иванович бежит в свой кабинет, приносит кошелек, дает нужную сумму. На другой день Ольга Александровна говорит ему: “Смотрите, Саша, сколько золотых монет Марфуша нашла на полу в гостиной!”

А ведь девочка только что из деревни, могла бы соблазнить-ся, скрыть их, я не хочу, чтобы она испортилась в городе!”

“Дядюшка профессор, – пишет моя мать, – смущен был чрезвычайно. И сколько он так рассыпал монет по белу свету, снабжая деньгами других, сам же простаивал на холодном ветру в промозглые петербургские вечера, ожидая трамвая после затянувшегося заседания в Географическом обществе. Не думавший о деньгах, когда они были нужны другим, к себе наш профессор относился сурово...”

Тимашев сообщает, что известный одесский климатолог Клоссовский был изгнан из университета по соображениям политическим. Работы найти не мог, нуждался. Александр Иванович немедленно послал Клоссовскому заказы на статьи для “Метеорологического вестника”... “Опальный ученый стал регулярно получать гонорар от журнала, хотя многие его статьи из-за отсутствия места света не увидели. Клоссовский не знал, что гонорар нередко посылал ему Александр Иванович из собственных средств... Кошелек его был открыт всем нуждающимся. После его смерти выяснилось, что во время Первой мировой войны Воейков пожертвовал в пользу беженцев крупную сумму: 3500 рублей. Это были его личные сбережения от гонораров и профессорского жалованья, доходами от имения профессор не пользовался давно...”

А на себя старался тратить как можно меньше, экономил, где только мог... В 1908 году Александр Иванович взял с

собой на конгресс в Женеву мою двадцатилетнюю мать: считал, что молодежь должна путешествовать как можно больше. Мать вспоминает: “Возвращаясь с конгресса, мы с дядей ехали из Берлина в купе третьего класса. Все восемь мест были заняты, и какой-то толстый немец, заснув, все сползал на мое плечо. Увидев, что я чуть не плачу, дядя на русской границе кинулся брать билеты первого класса. Вернулся озадаченный: «Странно! Билеты стоили тридцать восемь рублей, я дал сто, а вернули мне всего три рубля!» – «Ах, дядя! Ты всю сдачу потерял по дороге или забыл в кассе!» Я заставила дядюшку вернуться в кассу, пошла вместе с ним, но потерянных денег мы так и не обнаружили”.

Так оборачивались попытки этого человека прибегать к разумной экономии...

Он объездил весь мир. За редкими исключениями путешествовал на свой счет. Говорил: “Кто ездит не на казенных лошадях, тот ни в чем не зависит от правительства и может многое увидеть”. Был он основоположником еще одной отрасли науки в России – курортной климатологии. На заседании Русского общества охраны народного здоровья спрашивал: “Что бы подумали о враче, предписывающем лекарство, состав которого ему точно не известен? А посылая больных в то или другое место для климатического лечения, не имея точных сведений о климате этого места, не поступают ли врачи таким образом?” Доказал, что кавказские курорты и

летом, и поздней осенью обладают климатом для лечения более благоприятным, чем самые прославленные швейцарские климатические станции, а климат русской равнины куда полезнее для здоровья, чем сырое и прохладное лето многих западногерманских курортов. На Черноморском побережье Воейков интересовался Геленджиком и Джубгой и писал: “Живя в Джубге, я занимался любимым делом – рубкой деревьев и кустарников для проложения тропинок. Приходилось вдаваться в самую чащу леса, и, однако, нигде не было запаха гнили... Эта местность от окрестностей Геленджика до окрестностей Туапсе имеет большую будущность для дачной жизни и морских купаний”.

А ему, когда он рубил деревья и кустарники, продираясь сквозь чащу леса, было уже за шестьдесят. Очки свои с длинными дужками, вероятно, снимал, прятал в карман, замахивался топором, рубил, отирал рукавом пот с высокого, еще лысиной увеличенного лба, а в глазах детская радость от близости к природе, от физического труда, от сознания нужности своего дела и оттого, что все это умеет, и даже надвинувшаяся старость пока еще не помеха... Я думаю, он был счастливым человеком.

Было у него обыкновение записывать самое существенное из того, что им сделано за день. “Открываем наугад записи, относящиеся к ноябрю 1911 года, – читаю я у Тимашева. – Трудно поверить, что Воейкову было тогда шестьдесят девять лет: столько темперамента, напряженного труда скры-

то за лаконичными пометками... То он занят сложнейшими вычислениями, то читает лекции (иногда по две в день). В дневнике мы находим упоминания о написанных им для русских и иностранных журналов статьях на самые разнообразные темы. Здесь же отметка о переговорах с министерством земледелия, посвященных составлению климатических карт азиатской России. Несмотря на огромную занятость, он находит часы для конспектирования иностранных журналов, просмотра чужих исследований... Вот, например, сохранившийся план работы Воейкова на 1909–1910 годы. Тут исследования о севере России, об Урале и Байкале, о «колебаниях магнита», о климате Бельгии и т. п... До глубокой старости Александр Иванович продолжал изучать курорты, выбирать местности, пригодные для устройства лечебных заведений. В последние годы жизни большая часть путешествий была предпринята Воейковым именно для этой цели”.

Состоял в нескольких ученых обществах, заседал, писал, читал лекции, вел переговоры, путешествовал (самая большая его радость – впервые увидеть незнакомую дотоле местность!), с головой был погружен в свою науку. А людей видел, был к ним внимателен, все вокруг себя замечал – иным будет его старший племянник Александр Дмитриевич, о нем речь пойдет ниже...

По свидетельству моей матери, бабушка Ольга Александровна, “обремененная заботами о доме, об имении, об асфальтовом заводе в Батраках, была скорее холодна с детьми,

во всяком случае, лишних похвал мы от нее не слышали...”. Видимо, таковы были принципы воспитания Ольги Александровны, не в “обремененности” дело, Александр Иванович обременен был еще больше, однако на похвалы, на ласку щедр. “Я была однажды очень тронута, услышав, как дядя рассказывает своим друзьям о том, как я замечательно ходила по Альпам, преодолевая трудности Мовэ Па на склоне Монблана”.

Александр Иванович постоянно приглядывался к племянникам (когда успевал?), старался усвоить, кто из них к чему проявляет способности, а усвоив, помогал способности развивать.

Старший из племянников, Александр, одновременно с занятиями в университете пробыл, по настоянию дяди, семестр в Берлине, изучая там ботанику и биологию. За второго, Павла, будущего правоведа, Александр Иванович девять лет вносил 800 рублей в год в Александровский лицей. Третий, Дмитрий, учился в Петербургском горном институте, а также в Саксонии, в знаменитой Фрайбергской академии. Моя мать, четвертая из детей, была склонна к наукам гуманитарным, способна к иностранным языкам. Услышав о ее желании заниматься переводами, дядюшка немедленно выписывает ей английские и американские журналы, испытывает ее, поручая перевести то-то и то-то... А затем Александр Иванович, не терпевший никакого дилетантства, никакого любительства, решает отправить племянницу в Эдин-

бургский университет. Но шел 1906 год. Моя мать увлекалась политикой, кадетской партией, Первой думой и не хотела уезжать из Петербурга. Вместо Эдинбургского университета – Бестужевские курсы. Там мать занималась эпохой итальянского Возрождения и была все-таки отправлена дядюшкой в Италию... Двум младшим детям Ивану и Марье (оба будущие агрономы) тоже было дано прекрасное образование.

Жизнь семьи складывалась так (страницы из воспоминаний моей матери): “К шести вечера мы собирались домой к обеду. Кроме нас и наших учителей присутствовали дядины коллеги, приезжие географы с разных концов России. Бывали и заграничные гости. Среди гостей дядюшки я помню Максима Ковалевского, Нансена, Советова, Шокальского, Шпиндлера, Маркграфа... Думаю, что приезжих поражала спартанская простота нашего дома. Особенно скромным был кабинет профессора. После его серьезной болезни две северные комнаты, им занимаемые, сменили на одну восточную. Мебель там была самая простая: огромный (не письменный) стол, на котором было удобно раскладывать географические карты, скромное венское кресло. Маленький диван и кресло орехового дерева, ранее стоявшие в его кабинете, в новую комнату не вместились. Не помню уж, куда он усаживал своих именитых гостей. А они, быть может, сравнивали эту комнату, эту обстановку со своими комфортабельными кабинетами и – удивлялись. Но полагаю, что ин-



тересные беседы профессора, обладавшего феноменальной памятью и умением делать неожиданные выводы, заставляли забывать о спартанском убранстве кабинета, о скромном меню обеда... Дяде было безразлично, кто перед ним – учитель географии из провинциального российского городка или заграничное светило науки: и с тем, и с другим дядюшка общался совершенно одинаково. Он очень любил делиться знаниями с теми, кто его наукой интересовался, и неизменно награждал уходящего гостя каким-нибудь своим произведением, чаще всего оттиском из журнала, иногда не на метеорологическую тему, а на изыскания чисто практического характера... Летом, а бывало и зимой, дядя нередко уезжал в длительные путешествия по России и часто бывал за границей. После посещения Кавказа с профессором Харьковского университета А. Н. Красновым Александр Иванович открыл, что в Грузии можно культивировать китайский чай... Я еще была в гимназии, когда в Петербурге заговорили о грузинском чае, и очень возгордилась, когда наш учитель географии П. Ф. Обломков сообщил классу, что А. И. Воейков положил начало новой культуре на Кавказе..."

На международном конгрессе в Женеве, сидя на местах для публики, моя мать услышала, как перешептываются ее соседи, называя друг другу имена здесь присутствующих светил географической науки: "А вон тот слева – знаменитый русский профессор Воейков!" Боже мой, как хотелось моей матери, чтобы эти люди узнали, что знаменитый про-

фессор – ее дядя, что она не просто так барышня-курсистка, каких много в зале, а вот родная племянница известного русского ученого... Так ничего, разумеется, и не сказала, но полагаю, что суетными мыслями о том, как бы дать знать присутствующим о своем родстве с Воейковым, и была занята некоторое время юная голова моей матери... Итак: гордилась. Но уже назавтра – стыдилась.

Назавтра был назначен парадный прием для участников конгресса, но ни для каких приемов Александр Иванович своего привычного костюма менять не собирался. “С ужасом я глядела на потрепанную соломенную шляпу дядюшки, на галстук, завязанный неумело, кое-как (перевязала!), на эти гигиенические туфли с дырочками, но других у дядюшки не было. Особенно мне стало тяжело, когда я увидела Юлия Михайловича Шокальского, близкого друга дяди, явившегося за ним. Элегантный костюм, белоснежный платочек в кармане, новая шляпа-панама, безукоризненные перчатки. Контраст во внешности этих двух ученых ну просто убил меня тогда!”

(Мать в своих записках добавляет, что Воейков и Шокальский были в родстве друг с другом. Александр Иванович был правнуком, а Юлий Михайлович праправнуком тверского помещика Марка Полторацкого, имевшего двадцать детей, – портрет его кисти Левицкого находится в ленинградском Русском музее.)

“Дядина манера одеваться смущала нас, – пишет моя

мать, — мы не понимали, что как в науке, так и в своем отношении к здоровью он был на много лет впереди своего времени. Ведь мы тогда играли в теннис в длинных платьях, в блузках с закрытыми воротничками. Братья и живя в деревне ходили в гости к соседям в накрахмаленных кителях. Александру Ивановичу это казалось ненужным, вредным. Носил какие-то рубашки из сетки, гигиенические туфли с дырочками, накидки вместо пальто, а летом старался, как только возможно, сбросить одежду и принимать воздушные ванны. В Самайкине ночевал в маленьком, специально для него построенном доме без четвертой стены, чтобы всю ночь наслаждаться свежим воздухом сада. Часто уходил далеко в лес, гулял там без одежды, а бывали случаи, что натыкался на баб, собиравших грибы, и они бежали от него с воплями, приняв за лешего... А однажды няня, увидев на садовой скамье одежду Александра Ивановича, решила, что кто-то эти вещи забыл, хотела отнести их в дом и вскрикнула не своим голосом, увидев бежавшего к ней из осинника голого, в одних трусах, профессора... Шляпу надевал в редких случаях... В то время мало кто занимался гимнастикой, и всем казалось диким, что старый профессор играет в мяч в гостиной...”

Александр Иванович часто высказывался против одежды европейцев, непроницаемой для света и воздуха. В парках шикарных курортов появлялся в удобном легком костюме, каких тогда никто не носил. Гуляющие кидали на профессо-

ра изумленные взгляды, перешептывались осуждающе... На даче в Финляндии Александр Иванович принимал солнечные ванны, чего тогда тоже никто не делал и что тоже укрепляло за ученым репутацию чудака...

“Был он последовательным вегетарианцем, – пишет моя мать, – а последние восемнадцать лет своей жизни даже яиц не ел. Вообще предпочитал сырую пищу – ягоды, фрукты, в его холодной спальне всегда стоял ящик с сушеными абрикосами, яблоками, урюком, изюмом... К окружающим был терпим и, хотя, посмеиваясь, называл нас трупоедами, вкусов своих не навязывал, скромно ел за общим обедом свою неприязательную пищу и детски радовался, когда на столе появлялось какое-нибудь из его любимых горячих вегетарианских блюд. Потирал руки, смеялся: «Бобы! Как славно!»

Куда понятнее казался нам другой наш дядя, брат матери, пензенский вице-губернатор А. А. Толстой. Приезжая в Петербург, он прямо из гостиницы являлся к нам, но от приглашений отобедать неизменно отказывался: «Нет уж, Ольга, знаю я эти манные каши, я лучше к Донону поеду!» Както мне очень захотелось оставить завтракать нашего дачного соседа, тогда совсем молодого Михаила Леонидовича Лозинского. Но случилось так, что мы с дядей были в доме одни, ничего доброго от завтрака ждать не приходилось. «Попросила бы я вас остаться, – сказала я Михаилу Леонидовичу, – но боюсь, что на завтрак у нас только печеная репа!» –

«*Tout mon repas consiste de deux repas*»<sup>2</sup>, – немедленно отозвался Лозинский: он был славен среди друзей своими стихотворными экспромтами...

(Следует добавить, что позже он стал славен на всю страну своими стихами и переводами, среди которых “Божественная комедия” Данте.)

Остер, находчив: мгновенно обыграл сходное звучание русского слова “рёпа” и французского “репá”. Этим, вероятно, еще больше покорила мою мать, питавшую нежные чувства к молодому поэту, о чем я узнала лишь после ее смерти, из дневников ее... Итак: сказал блестящий экспромт, поклонился и ушел домой завтракать. А моя бедная мать грустно глядела ему вслед (чем удержать его?) и, кто знает, быть может, мысленно роптала на доброго дядюшку с его бобами, репами, гигиеническими туфлями и прочими странно-стями... О, разумеется, другой дядя, пензенский вице-губернатор, ездивший обедать к Донону, куда был понятнее, куда легче вписывался в окружающий пейзаж...

“Увы, – сознается моя мать, – редко мы гордились дядюшкой профессором. Чаше стыдились его манеры одеваться, его чудачеств, его отступлений от «хорошего тона». А у него привычки хорошего воспитания были заложены с детства вместе с безукоризненным знанием иностранных языков. Но у нас, молодых, был свой взгляд на правила хорошего тона. Однажды в Петербург приехали шведские уче-

---

<sup>2</sup> Вся моя еда состоит из двух реп (*фр.*).

ные и, не застав профессора в городе, отправились на дачу в Финляндию. Надо было гостей угостить, а в доме не оказалось чистой скатерти. Я вышла из затруднения, постелив на стол белоснежную канвовую простыню. Каков же был мой ужас, когда дядя за дружеским чаепитием, посмеиваясь, сообщил маститым ученым, что на столе – простыня! Я решила, что мы опозорены навек, и позже стала упрекать Александра Ивановича: «Ах, дядя! Ну как ты мог?» Очень смутился. Всегда смущался, слыша наши: «Ах, дядя!..»

...Брат Павел с лицейским приятелем стояли однажды на балконе петербургской квартиры. Приятель сказал: «Воейков! Гляди, какой странный тип идет!» А то шел наш дядя в своей размахайке, без шапки, со связкой книг под мышкой. Павел быстро увел приятеля в свою комнату, не дав встретиться с Александром Ивановичем. Мы потом долго дразнили Павлика, что он отрекся от родного дяди. Но боюсь, что на его месте и мы поступили бы так же!”

Вот моя мать едет с дядюшкой из Берлина уже в вагоне первого класса – это после того, как профессор потерял сдачу. “В купе кроме нас был только один пассажир, англичанин, ехавший в Россию впервые. Мы с ним разговорились о берлинских музеях, о Мюнхенской пинакотеке, я рассказывала об Эрмитаже, англичанин слушал заинтересованно, и все было бы прекрасно, если бы не дядюшка. Его странный костюм, его поведение угнетали меня. Он вытащил из сумки свою еду – орехи, чернослив, винные ягоды, жевал, спле-

вывал косточки в какой-то бумажный мешочек, на лице ясность, довольство, покой. Я старалась в его сторону не глядеть...”

Подозреваю, что моя мать, как и брат ее Павел, мысленно от дядюшки отрекалась. Делала вид, что этот чудаковатый старик со своими фруктами и бумажным мешочком просто случайный сосед, не имеющий отношения к ней, такой миленькой, такой интеллигентной, знавшей толк в музеях и пинапотеках воспитанной барышне... Речь зашла об Италии, где мать еще не бывала, и англичанин воскликнул: “Как, вы не видели Рима? Счастливая. Вам это еще предстоит!” И тут Александр Иванович, сплюнув косточку, на своем прекрасном английском языке ввернул, что племяннице его многое предстоит еще в жизни увидеть. Ведь она в Индии не бывала, а Индия... И стал говорить об Индии. Элегантный англичанин уже через минуту подпал под обаяние чудаковатого старика, забросал его вопросами и в разговоре с ним совершенно забыл о существовании такой миленькой, такой интеллигентной и воспитанной племянницы.

“Были мы очень молоды, и дядюшкины чудачества, его непригодность к практической жизни куда больше бросались нам в глаза, чем его научные заслуги. Что мы понимали в этих заслугах? – с горечью спрашивает моя мать и в знак позднего раскаянья добавляет известную французскую поговорку: «Если бы молодость знала, если бы старость

могла!»”.

Эта поговорка уместной здесь мне не кажется.

Тщеславное стремление к успеху внешнему, всем заметному, суетная забота о мнении и тех, кто тебе безразличен, и даже тех, кого не уважаешь, — не свойственно ли это каждому из нас независимо от возраста? В гимназии, когда учитель географии рассказывал классу о грузинском чае, на конференции, когда соседи указывали друг другу на знаменитого профессора, тут “молодость” все прекрасно “знала”, понимая, что таким родством следует гордиться. Куда легче верить другим, чем себе, чем собственной совести, внутреннему голосу. Иные так и жизнь проживут, к внутреннему голосу не прислушиваясь. Освобождение от тщеславия и суетности — это борьба с собой, длящаяся до смерти, трудная борьба с переменным успехом, а полной свободы, истинной победы мало кому удастся добиться. Так что не в молодости тут дело!

А был еще и вот какой случай...

Всей семьей ехали в Самайкино. Под Сызранью поезд остановился из-за снежных заносов. В эти минуты Александр Иванович, в то время уже старый человек и всемирно известный ученый, беседовал о физических методах лечения, утверждая, что прогулки босиком по снегу полезны чрезвычайно... “Ну да, ну да, на словах! А вот на деле...” — поддразнивая дядюшку, сказал кто-то из племянников. “Что ж! Можно и на деле”.



Александр Иванович мгновенно разулся, выскочил наружу и стал прогуливаться босиком вдоль состава на глазах у изумленных, приникших к окнам пассажиров... И тут поезд тронулся. Проводнику и встревоженным племянникам едва удалось втащить босого профессора на подножку чуть уже не на полном ходу поезда... И вот он идет через вагон в свое купе, в засученных штанах, ступая грязными голыми ногами, и все вокруг смеются, а громче и веселее всех смеется он сам...

Никакого внимания на общепринятое “чтобы как все”. Никакой зависимости от окружающих не чувствовал этот свободный человек, поступавший так, как считал правильным и нужным. Смеются? Пусть их! Осуждают? Бог с ними! Умел быть выше этого.

...В течение многих лет Александр Иванович был непременным представителем России на международных географических и метеорологических конгрессах, совещаниях, съездах... Молодой друг Воейкова Вениамин Петрович Семенов-Тян-Шанский в своих воспоминаниях пишет: “На всех международных конгрессах Александр Иванович был по праву одним из самых дорогих и почетнейших гостей, и его своеобразная внешность ярко запечатлевалась на однообразном фоне обыденных конгрессистов, а его всегда свежее и богачейшие по содержанию доклады, равно как и полные глубоких познаний замечания во время прений остав-

ляли неизгладимый след на занятиях съездов...”

Вот еще строки из воспоминаний Семенова-Тян-Шанского: “Для светлого духа Александра Ивановича мир был премудрой поэмой, которую он во всеоружии своих сил доброжелательно, а подчас трогательно открывал любому своему собеседнику как в заседаниях нашего общества, так и в тиши своего городского кабинета или вне города, без устали идя босым где-нибудь по влажному от морского прибоя песку или по пыльной дороге и разделяя со слушателем скромную трапезу из одних фруктов, которые он всегда носил с собой. Величавая простота природы в тихой гармонии сочеталась с этим замечательным и скромным человеком, от которого каждый уходил умудренный и обласканный каким-то внутренним светом”.

Босые ноги на влажном песке. Трапеза из фруктов. Неторопливо-мудрая беседа под шум моря, так же шумевшего и во времена Платона, и в библейские времена... “Дни проходят, и годы проходят, и тысячи, тысячи лет”. А оно все то же, море. Мир. Покой. Чайки. Лицо у профессора, издали похожего в своих засученных штанах на старого рыбака, ясное, кроткое, умиротворенное. Думаю, что иногда он останавливался, пронзенный новой, только что пришедшей мыслью, глядел невидяще, нашаривал в кармане записную книжку... А иногда, быть может, приходилось оспаривать возражавшего собеседника, и тогда глаза его за стеклами очков вспыхивали, а рука воинственно рубила воздух...

С подчиненными и студентами – сама деликатность. Дома – сама кротость. Ему можно было на голову сесть (племянники и садились!) и слова от него не услышать. Напротив. Сам вечно смущался, сам старался никому не мешать, устранившись... Тишайший человек! А вот во всем, что касалось науки его, нетерпим, страстен, темпераментен. Этот кротчайший и тишайший заслужил у начальства кличку Беспокойный Воейков. Он и был беспокойным, неизвестно, чего ждать от него, вступал в споры, не интересуясь, кто перед ним. А уж угодничеством и подавно не запятнал себя – свободный человек! С людьми, ощущающими себя так свободно, надо поосторожнее. С ним и были осторожны, на высокие должности выдвигать остерегались, вот почему он так и не стал академиком. И не ему доверили возглавлять кафедру географии в Петербургском университете. Воейков до конца дней своих остался профессором без кафедры.

А еще его называли либералом, хотя от политики был он так же далек, как марсианин какой-нибудь от нашей земной суеты. Просто ненавидел, я думаю, всякую стиснутость, всякую тупую казенщину, поэтому сочувствовал бунтующей молодежи, и молодежь верила ему – в бумагах его после смерти были обнаружены хранимые им студенческие листовки... И еще была найдена копия письма, резко протестующего против жестокой расправы над студенческой демонстрацией близ Казанского собора 4 марта 1901 года. Письмо это было подписано Горьким, Маминым-Сибиряком, Пет-

ром Лесгафтом, Н. И. Кареевым и другими писателями, учеными, общественными деятелями...

В январе 1916 года Александр Иванович болел гриппом и, не выздоровев как следует, выскочил на улицу. Ему нужно было, видите ли, срочно отнести корректуру в редакцию “Метеорологического вестника”. Дом полон людей, было ко-го вместо себя послать, но нет, не любил просить, не любил беспокоить, все сам, все сам... И вот не углядели, не удержали – побежал. После чего воспаление легких.

Он скончался 28 января. В траурном объявлении сказано: “По желанию покойного венков просят не возлагать”.

“Сегодня, – пишет моя мать в декабре 1963 года, – два корабля гидрометеослужбы – «Воейков» и «Шокальский» – бороздят просторы Тихого океана, занимаясь научными исследованиями. Какая прекрасная судьба двух друзей, двух родственников, двух ученых!”

Во втором томе словаря “Русские ботаники” (Москва, 1947, Изд-во Московского общества испытателей природы) опубликованы две статьи, посвященные одна – дяде, другая – племяннику: Александру Ивановичу и Александру Дмитриевичу Воейковым.

Об Александре Дмитриевиче в словаре сказано: “Плодовод, садовод, акклиматизатор растений, агроботаник (лекарственные растения), метеоролог”. Там же: “В 1919 году был командирован на Дальний Восток, где изучал сады Примо-

рья и Маньчжурии... С 1922 по 1929 год В. заведовал Опытным полем Китайской восточной ж. д. на ст. Эхо (Маньчжурия)...” Был он затем редактором журнала “Сельское хозяйство в Маньчжурии”, позже – лектором Северо-Маньчжурского университета по кафедре технической ботаники, организовал на ст. Сяолин опытный сад и питомник для обмена семенами и живыми растениями... Добавлено, что он много ездил, “знакомясь с ассортиментом растений местных садов и дикорастущими плодовыми. Во время поездок занимался также флористическими исследованиями, нашел впервые для Уссурийского края *Plagiospermum sinense* Oliv. и *Prunus sibirica* L...”.

“...Большая часть собранных ботаником коллекций погибла, в частности бо́льшая часть гербария организованного В. опытного поля на ст. Эхо”. Приводится список работ на русском и английском языках – 66 названий.

Александр Дмитриевич был очень близок с И. В. Мичуриным, более тридцати лет проработал с ним в городе Козлове – ныне Мичуринск. Сложись иначе судьба А. Д. Воейкова, останься он в России, куда длиннее был бы список его работ (многие труды пропали бесследно!), не исчезли бы его любовно собранные коллекции, его гербарий и иным был бы вклад в отечественную науку этого крупного русского ученого. Но он попал в Маньчжурию, откуда выбраться так и не смог.

Жили в Маньчжурии и мы – отец, мать, няня Прасковья

Андреевна и я с сестрой. Попали туда, однако, иначе, чем старший брат моей матери...

Мой отец Иосиф Сергеевич Ильин должен был быть моряком, окончил Петербургский морской корпус. После Цусимы в знак протеста против позора русского флота отец и еще несколько юных мичманов с флота ушли. Знаю по рассказам, что это вызвало гнев деда Сергея Иосифовича. Предок Ильиных Дмитрий Сергеевич отличился в Чесменском бою, и так уж велось, что в этой семье кто-то непременно должен был быть моряком. Однако на флот отец не вернулся, служил в армии, в артиллерии, кончил войну в чине подполковника. В Гражданскую войну дрался на стороне белых.

Летом 1918 года бабушка Ольга Александровна Воейкова с дочерьми и внуками жила на даче под Самарой. Почему мы жили не в Самайкине, а на чьей-то чужой даче, сказать не берусь, а расспросить об этом уже некого... Вот туда-то однажды явился мой отец и увез свою семью ночью на лошадях. Иногда мне кажется, что я помню, как мы ехали, как тряслись и было холодно, но, быть может, мне просто об этом рассказывали... Куда ж мы ехали? Куда приехали? Не знаю. Знаю, что потом были теплушки, Екатеринбург, Омск, Иркутск, а затем надолго, на многие годы, – Харбин.

Придется сделать маленькое отступление, пояснить читателю, что представлял собою этот странный город...

В конце минувшего века русское правительство по договору с Китаем начало прокладывать на маньчжурской земле

Китайско-Восточную железную дорогу. Из России в Харбин нагрянула армия строителей (инженеры, рабочие), а следом учителя, священники, купцы, появлялись школы, возводились православные храмы, открывались лавки, затем крупные магазины. Поселок, состоявший поначалу из палаток и наспех сколоченных бараков, превращался в город, русскими руками построенный на чужой земле, и в 1948 году, попав в Казань, я убедилась в том, о чем раньше лишь догадывалась: Харбин обликом своим, архитектурным стилем конца минувшего века (низкие в основном дома, лепная вычурность парадных зданий, скверы) напоминал провинциальные российские города.

До 1920 года, когда мы, беженцы, сначала отдельными струйками, а затем уже таким беспорядочным потоком стали заливать улицы Харбина, тогда вполне благоустроенного города, тамошние старожилы (служащие КВЖД, торговцы, домовладельцы) вели жизнь настолько спокойную, насколько это было возможно в те апокалиптические времена... У домовладельцев и купцов было соглашение с правлением КВЖД, и городом управлял муниципалитет, от китайских властей не зависевший... Скоро все станет иначе, у Харбина будет другая, нелегкая судьба, а всего горше придется ему после года 1932-го (оккупация Маньчжурии японцами, создание марионеточного государства Маньчжоу-Го), но одним из первых ощутительных толчков, потрясших основы налаженной, устоявшейся жизни Харбина, было появ-

ление нас, беженцев, – остатки разбитых колчаковцев и семьи их...

Нам не сразу удалось попасть в город: месяц, а то и два мы жили в вагонах, отогнанных в тупик, на запасные пути харбинского вокзала... Рев маленькой сестры, примус на вагонном откидном столике, таз на вагонной полке – няня вечно стирала, – мои попытки удрать из этой тесноты и шума, а снаружи угольная пыль, шпалы и вскоре крики хватившейся меня няни: ребенок, боже мой, на рельсах, а по ним в любой момент может паровоз пойти (втаскивали обратно, шлепали, отмывали), но главное, ярчайшее воспоминание – это кукла (мальчик в матросском костюме), купленная матерью в универсальном магазине “Чурин и Ко”. Родители весь день носились по городу, жизнь пытались устроить, заработки отыскать. Кое-как устроили, что-то нашли...

Три маленькие комнаты в одноэтажном, оштукатуренном, под железной крышей домике, окна двух выходили в палисадник с акацией и черемухой... Была у нас ванная комната, и отопление, разумеется печное, и кухня с плитой, топившейся дровами. Окно третьей комнаты глядело на просторный двор, с которым связаны все игры моего детства.

Я, конечно, знала, что старший брат матери дядя Шура – ботаник, но если бы не словарные сведения, выше приведенные, затруднилась бы сказать, чем именно он занимался. Не знала бы и того, каким образом он очутился в Маньчжурии (ведь вся семья матери осталась в России), когда имен-



но приехал в Харбин. Родственной привязанности я к нему не испытывала, ибо чувствовала его к нам безразличие. Я бы не удивилась, если б он спросил однажды, глядя на нас с сестрой рассеянными серыми глазами: “Чьи это девочки? Откуда они?” Я выросла с ощущением, что дядя Шура всегда пребывает где-то недалеко от нас, его огромная фигура возникала иногда в нашей квартире, сразу делая ее еще теснее. Моего отца, аккуратного до маниакальности, подтянутого, спортивного, ничего, кроме военного дела, не знавшего, раздражал глубоко штатский вид Александра Дмитриевича, небрежность его одежды: плохо сидевшие пиджаки, мятые брюки, криво завязанные галстуки, нечищенные ботинки. Неуклюжий и неловкий, этот большого роста человек был похож на бабушку, горбонос и сероглаз, как она, и, как она, рано поседевший. Я помню его только седым.

В 1906 году он женился на Надежде Александровне Башмаковой, и в семейном альбоме сохранилась их фотография – два серьезных молодых профиля. Мне грустно смотреть на эту фотографию, особенно на юное лицо Надежды Александровны. Темные волосы подняты над ухом в прическе того времени, длинная шея почти закрыта воротничком, взгляд доверчивый... Красивая черноглазая серьезная девочка из тогдашних курсисток. Мечтала, вероятно, о том, как она будет помогать трудиться любимому человеку, верила, что впереди их ждет осмысленная, счастливая жизнь. А впереди ее ждали одни несчастья, цепь несчастий, закончившихся тра-

гедией...

Александр Дмитриевич был так поглощен своей наукой, своими растениями, лекарственными и иными, что ни на что другое его не хватало, – так был устроен этот человек. Надежда Александровна покинула его через три-четыре года после брака и с маленьким сыном, тоже Александром, осталась в России.

Время от времени в одинокой жизни моего дяди появлялись дамы, желавшие его утешить и о нем позаботиться. Вероятно, он был с ними рассеянно добр и отнюдь не скуп. Всегда он был человеком безалаберным, но когда служил на КВЖД, бедным не был. Он и нам с сестрой делал подарки, если случайно попадал в дни именин или рождений. Дети, шум, чаепитие. Озирался изумленно: “Что это у вас?” “День рождения Таты”, – холодно отзывалась мать: она-то помнила торжественные даты не только родственников, но и друзей. Дядя Шура подзывал меня к себе, совал деньги: “Купи себе что хочешь!”

Находясь в дошкольном и раннешкольном возрасте, мы с сестрой проводили летние месяцы в дядином казенном доме на станции Эхо: красивое место среди сопок, рисовые поля, гаолян, кукуруза, широкая река Муданьцзян, десять часов поездом от Харбина. В поселке Эхо жили и русские, служащие КВЖД, летом приезжали дачники, были, конечно, и дети, наши сверстники, мы купались в реке, играли в прятки среди посадок гаоляна, я с тех пор этого растения не видела,

помню лишь, что оно было выше детского роста...

Дом был каменный, одноэтажный, просторный. Дядя Шура, надев свой колониальный пробковый шлем, с утра пропадал на опытном поле, мы его днями не видели, при встречах он глядел на нас рассеянно, поглощенный своими мыслями. Вероятно, на своих очередных дам он смотрел примерно так же. Дамы, не выдержав, сбегали. Одна держалась дольше других, я ее хорошо помню: славный человек, и тоже чудачка, и тоже на внешний вид никакого внимания, ходила в старых брюках и кофтах и в чем попало, и тоже одержимый ботаник. Поэтому-то и держалась. Но иногда прибегала жаловаться на Александра Дмитриевича моей матери: “Чудовищный эгоцентризм! Для него существует лишь его работа и он сам!” Мать отвечала: “Но что вы хотите от Шуры?”

Пассажирские поезда мчались мимо поселка, останавливаясь на станции Эхо всего на три минуты. За эти минуты надо было выгрузить (а уезжая – погрузить) детей и вещи, и мы заранее стояли на площадке вагона в окружении чемоданов и тюков, и дядя Шура либо встречал нас сам, либо посылал кого-нибудь, и мы, едва поезд останавливался, прыгали в объятия встречающего, за нами кидались чемоданы... Уезжать было хуже – поезд шел мимо Эхо ночью. Нас будили, одевали, покрикивая: “Стой прямо! Не спи!” – а потом на маленьком перроне в ожидании поезда сон проходил совершенно, и мы дрожали уже не спросонок, а от испуга – передавалось волнение тех, кто сопровождал нас. Надо

было точно угадать, где встать, чтобы очутиться прямо против двери вагона. И вот вой вдали, и красные глаза паровоза, и приближается это огнедышащее чудище, и суматоха в нашей маленькой группе, и лишь недавно, вспоминая все это, я поняла, почему до сих пор испытываю неприятное, близкое к страху чувство на ночных вокзалах при виде приближающихся поездов...

В сопках водились хунхузы. Они иногда обстреливали поезд, стараясь убить или ранить машиниста, чтобы остановить состав. Если им это удавалось, они грабили пассажиров, а иных уводили с собой, чтобы затем требовать выкуп.

Обстреляли однажды и нас. Мать стащила меня с верхней полки, заставила лечь на пол, и главное, что я запомнила, это то, как было противно лежать на вагонном полу в грязно-голубой луже пролитого молока, а отодвинуться некуда, рядом тоже лежали, я порывалась встать, меня укладывали насильно, и что-то резко стучало в стенку вагона, и кто-то стонал в соседнем купе... Хунхузам не удалось остановить наш поезд, он благополучно достиг станции Хэндаохэдзы, и там сменили машиниста, раненного в руку, и все восхищались его героизмом, и кто-то еще был ранен из пассажиров, и в каких-то вагонах выбиты стекла, а на стенках некоторых, в том числе и нашего, были обнаружены следы пуль... Бог мой, с какими прикрасами я рассказывала потом об этом приключении знакомым девочкам!

И отец приезжал в Эхо. Там он учил меня, восьми-девяти-

тилетнюю, ездить верхом в казацком седле на смиренной низкорослой монгольской лошадке... Отец приезжал в Эхо и жил у дяди Шуры, хотя терпеть его не мог, ибо нельзя представить себе двух более непохожих людей, чем эти двое... А дядя Шура, полагаю, никаких сильных чувств к отцу моему не испытывал, глядел на него как на всех, то ли видя его, то ли нет. Однако никому не склонный прощать “заигрываний с большевиками” отец сквозь пальцы смотрел на советский паспорт Александра Дмитриевича. Что, дескать, спрашивать с этого одержимого? Кроме будущности рисовой культуры и льняных посевов в Маньчжурии, а также лекарственных растений, этого чудака не интересует ничего. Политика в самом деле была совершенно чужда Александру Дмитриевичу... Знаю, что после того, как он лишился своего любимого опытного поля в Эхо (после конфликта 1929 года на КВЖД), а затем питомника на станции Сяолин (после оккупации Маньчжурии японцами) дядя Шура стремился уехать в Россию, но тогда из этого, уж не знаю почему, ничего не вышло...

Летом 1933 года дядя Шура жил в Харбине, снимая комнатушку в Мацзягоу.

Опять необходимо отступление.

Не считая окраины города, населенной исключительно китайцами и называвшейся Фузцядянь, Харбин делился на несколько районов, из которых главными были Пристань, Новый город и Мацзягоу. Пристань – деловой район, тут ма-

газины, лавки, конторы, гостиницы и, несмотря на близость реки Сунгари (отсюда и название – Пристань), мало зелени, много пыли. Новый город – район центральный. Здесь управление и правление КВЖД, скверы, проспекты. Железнодорожное собрание (дом парадного вида цвета крем, внутри прекрасные залы и сцена, позади дома – парк, где летом в раковине играл оркестр), а на главной площади, на холме (от него круто вниз мимо правления КВЖД сбегала широкая улица, упиравшаяся в вокзал), возвышался, царил над городом деревянный собор с шестигранным куполом, а над ним и гораздо ниже, по бокам крыши, маленькие луковицы с крестами. Мне кажется, зодчий пытался создать нечто похожее на древнюю русскую церковь, но в чем-то переборщил, не было в соборе присущего этим церквям скромного величия, а было нечто пряничное... Наиболее удаленным от реки, но самым зеленым и уютным был третий район города, преимущественно одноэтажный. Тут были скамейки за оградой палисадников для отдыха, бесед и шелканья семечек, попадались и дома с завалинками и резными наличниками окон... Некоторые жители держали коров, они паслись на зеленом пустыре, и вечерами улицы оглашались мычанием – коровы шли домой. И еще доносились мерные удары колокола из монастыря, чья стена белела где-то там, за пустырем... Если бы не скрежет, звон и синие искры трамвая, ходившего по главной улице и связующего все три района города, то эта часть Харбина напоминала бы крупное русское село, а назы-

валась китайским именем – Мацзягоу.

Так вот, летом того года дядя Шура со своим преданным учеником, мальчиком лет пятнадцати по имени Слава, бродил по полям за Сунгари в поисках растений для очередной коллекции. Там их схватили хунхузы. От родителей Славы и от моей матери потребовали выкуп.

Мать, сестра и я жили в доме гостиничного типа, известном по имени владельца как дом Ягунова, это был самый высокий дом Харбина, не то пять, не то шесть этажей... Уже больше четырех лет прошло с той поры, как родители мои разошлись. Их брак с самого начала был неудачным, мы с сестрой росли в наэлектризованной атмосфере семейного несогласия, кончившегося (к нашему даже облегчению!) разводом. Отец, кроме своего военного ремесла, толком ничего не умел, все тяготы эмигрантской жизни легли на плечи матери; на ней, а не на отце с его случайными непрочными заработками держался дом. Но позже выяснилось: дом и на отце держался, он был аккуратнее и хозяйственнее матери, и, видимо, именно он проверял счета часто у нас сменявшихся кухарок – няня умерла в начале двадцатых годов... Стоило отцу уйти, как кухарки, ощутив отсутствие твердой руки, стали нас обкрадывать. Мать работала не меньше, больше прежнего, работала как выучная лошадь, давала уроки английского и французского, что-то переводила для газет, а с деньгами становилось все труднее, и вскоре мы стали увязать в долгах. Мы скитались с квартиры на квартиру, нас гнали

из одной за неуплату, мы переезжали в другую. Матери не приходило в голову, что мы уже не можем жить в квартирах и держать прислугу, пора снять комнату – одну на троих. Мы с Гулей (детское имя сестры Ольги) умолили наконец мать это сделать, и осенью 1932 года мы переехали в дом Ягунова.

Августовским поздним вечером в дверь нашу постучали, затем вошел молодой китаец, очень опрятный, в голубом шелковом халате, и, сняв соломенную шляпу, поклонился, улыбнулся, протянул моей матери вчетверо сложенный грязный листок... Мать недоуменно развернула его, поднесла к близоруким глазам. И тут же громко, сердито: “Что это? Кто вы такой?” “Мы – хунхуза”, – и китаец улыбнулся скромной, но полной достоинства улыбкой. А на грязном листке карандашом, почерком дяди Шуры, нацарапано: “Катя! Слава и я у хунхузов. Держат в яме...”

Мать никогда не вскрикивала, не охала, не хваталась за сердце и не ломала рук – во всяком случае, на людях. В этом случае ее реакцией было изумление, смешанное с негодованием. Все знали, что вокруг Харбина действуют хунхузские шайки, чуть не ежедневно газеты писали о новых похищениях и требованиях выкупа, а японцы, тогдашние хозяева Маньчжурии, обещали хунхузов уничтожить, но все почему-то не уничтожали... Поразило нас то, что этот молодой и не лишенный элегантности китаец спокойно признавался в своей принадлежности к хунхузской шайке и разгуливал по городу, ничего не опасаясь. А кроме того, похищали обычно



людей состоятельных – харбинских коммерсантов, владельцев аптек, магазинов, – при чем же тут наш дядя, у которого ломаного гроша за душой нету?

Смутно помню его комнатку в Мацзягоу: стол, загроможденный бумагами и засохшими растениями, железную койку под серым солдатским одеялом, старую кепку на гвозде в углу, разбросанные предметы одежды – штаны, перекинутые через спинку кровати, мятые рубашки на спинках стульев... Беспорядок. Бедность. А в те годы Александр Дмитриевич был не то редактором журнала, не то лектором университета...

На вопрос, почему похитили нашего дядю, ответ мы получили сразу же: хунхуз объяснил, что Воейкова приняли за кого-то другого. Но уж раз он попался, даром его не отпустят. “Наша недорого бери, только тысяча!” – сказал хунхуз таким тоном, будто продавал нам меховое пальто... Не помню, была ли уже в то время введена валюта государства Маньчжоу-Го (денежная единица называлась “гоби”) или еще ходили китайские даяны, но это не имеет значения. Тысячи у нас не было. Мать, полагая, что действует очень хитро, велела хунхузу явиться завтра в это же время и на-завтра с утра помчалась в японскую жандармерию. Мать и мы с сестрой думали, что в жандармерии безумно удивятся наглости хунхузов, выследят этого молодого, который к нам придет, найдут хунхузский лагерь и освободят дядю Шуру с мальчиком Славой. В жандармерии матери сказали, что с

хунхузами скоро будет покончено, но не сейчас – у японской армии сейчас других дел полно. Поэтому лучше заплатить требуемый выкуп.

Нам тогда еще не приходило в голову, что вокруг Харбина действуют не настоящие хунхузы, а бандиты иного толка – бандиты, находящиеся на службе японской жандармерии. Этих бандитов потому и не трогали. Не только не трогали, но, полагаю, указывали, кого похищать, с кого сколько брать. Организация, называвшая себя Российской фашистская партия, тоже была тут замешана. Похищали, разумеется, русских эмигрантов, они бесправны, за них никто не заступится. Однажды, правда, обнаглев от безнаказанности, хунхузы похитили французского гражданина. Им был молодой пианист Семен Каспе, учившийся во Франции и приехавший в Харбин погостить к отцу, богатому ювелиру. Ювелир-то был эмигрантом. Он отказался платить выкуп, надеясь на то, что французского гражданина тронуть не посмеют, отпустят без выкупа. Но хунхузы посмели. Сначала молодому Каспе отрезали уши, послав их в аккуратной коробочке отцу, затем убили.

История наделала шума. Дотошный консульский служащий, француз, занялся расследованием, выяснил связь между хунхузами и жандармерией, и жандармам, храня честь мундира, пришлось лгать, изворачиваться, сваливать все на представителей фашистской партии – они якобы похитили и убили молодого человека единственно из патриотических

чувств... Дескать, старый Каспе торговал царскими драгоценностями и патриоты не могли ему не отомстить. Беспаспортных эмигрантов похищать было, разумеется, куда проще. Некоторые так и гибли в хунхузском плену, и по этому поводу особого шума не поднимала ни иностранная печать, ни эмигрантская. Она была подчинена японцам, как все было им подчинено в те годы в Маньчжурии. Если А. Д. Воейков редактировал тогда журнал “Сельское хозяйство”, это означало, думаю, что советского паспорта у него уже не было. От паспорта, значит, он отказался, иначе не получил бы возможности работать. Платили ему издевательски мало, как, впрочем, и всем, кто работал в учреждениях государства Маньчжоу-Го. Хозяева Маньчжурии умели пользоваться бесправием эмигрантов и тем, что деваться им некуда...

Свое несправие мы, разумеется, понимали, но то, что мы живем во власти мафии, называющей себя жандармерией, блюстительницей закона и порядка, этого понять тогда мы не были в состоянии. Поняли позже, переехав в Шанхай. А тогда верили, что у японской армии и в самом деле еще не дошли руки до хунхузов. Однако недоумевали: казалось, что покончить с хунхузами не так уж сложно для мощной армии. Об истине все же не догадывались. Видимо, людям, живущим вне закона, не так-то просто осознать свое положение.

Вечером пришел хунхуз, и мы с ним торговались. Мать, как всегда, держалась спокойно, голоса не повышала. “Откуда мне взять вам денег? Вы видите, как мы живем”. Я же вы-

крикивала какие-то идиотские слова вроде “как вам не стыдно!” Мать останавливала меня жестом, хунхуз усмехался. Да, он видел, как мы живем. Вероятно, и его японские начальники ему сказали, что взять с нас нечего. Быть может, ругали: не тех, мол, дураки, похищаете, и куда смотрели? Во всяком случае, хунхуз вполтину снизил цену за дядю Шуру: не 1000 – 500. И еще велел купить столько-то пачек сигарет и столько-то пар носков: “Хунхуза подарка любит!”

Дальнейшего память в последовательности не удержала. Видятся отдельные куски... Я покупаю хунхузам дешевые китайские сигареты, десять штук в пачке, на пачке изображение крестьянина в соломенной шляпе и закатанных выше колен синих штанов, крестьянин разбрасывает зерно, сигареты в переводе на русский назывались “Сеятель”. Я покупаю носки, нарочно выбирая самые, с моей точки зрения, некрасивые, серые с розовыми полосами, и мне безумно жалко денег и одновременно весело, ибо в голове уже складывается смешной рассказ для друзей о том, как я покупала подарки хунхузам... Родители мальчика Славы жили в пригороде Харбина, называвшемся почему-то Нахаловка, и я к ним туда ездила. Кажется, мы объединили купленные хунхузам подарки, чтобы отправить их вместе... Деревянный домишко, веранда, заросшая диким виноградом, стол, клеенка, на ней солнечные блики, а вот лиц родителей не помню совсем. Сколько просили хунхузы за Славу и как его родителям удалось достать денег, не знаю. Знаю, как достала деньги моя

мать.

Какую-то часть суммы удалось собрать среди друзей, среди учеников матери, а также учеников и сослуживцев Александра Дмитриевича. Этого было мало. И тогда с болью в сердце мама решила расстаться с подарком своей матери – золотое колечко и в платиновых лапках небольшой, но, кажется, хороший брильянт. Ювелиры, как водится, мало давали за кольцо, и не было среди наших знакомых никого, кому бы мог понадобиться этот предмет роскоши...

Тем летом у нас появились новые друзья, недавно приехавшие из СССР, семья, которой я дам вымышленную фамилию Роджерс: муж, жена и дочь Женя немногим старше меня. Отец Чарлза Роджерса был англичанин, мать русская. Женат Чарлз Роджерс был на русской, москвичке. Они были британские подданные, покинули СССР легально. Мать подружилась с родителями, мы с дочкой.

И вот Чарлзу Роджерсу пришла в голову мысль разыграть мамино кольцо в лотерею: девяносто девять пустых билетов, на сотый падает выигрыш. Все хлопоты по продаже билетов взяли на себя Роджерсы, у них дома, кажется, и состоялся розыгрыш, и кольцо досталось маминой приятельнице Веронике Николаевне Ищенко, чему мать была рада: не у чужих людей очутилось кольцо... Все это затянулось надолго. Хунхузский плен дяди Шуры начался в августе, а выпустили его поздней осенью, в дождливый, с порывами ветра ноябрьский, кажется, день. Встреча с хунхузами, передача им денег

и освобождение дяди Шуры состоялись где-то за городом, туда ездили мать и Роджерс, и еще кто-то с ними, и, быть может, родители Славы, если только они не выкупили сына раньше...

Хунхузы привели дядю Шуру в той же рубашке, в которой он летом ушел собирать гербарий, от рубашки остались лохмотья, и руки, и шея в язвах – хунхузы, оказывается, любили гасить о пленных сигареты... Дядю Шуру сразу же удалось положить в больницу, где у него обнаружилось воспаление легких, но он выжил. Мать, вернувшись поздно вечером, сразу же легла и принимала сердечные лекарства, но на другое утро встала, как обычно, отправилась по своим делам, похудевшая, с ввалившимися щеками, – дорого ей стоили эти месяцы.

7 декабря, в Екатеринин день, который мать всегда отмечала, в нашей комнате собрались друзья, хозяйственная Гуля испекла пирог, пили чай, и приехала Вероника Николаевна Ищенко. Она протянула маме маленькую коробочку: в коробочке было то самое кольцо!

Так оно вернулось в нашу семью, и сейчас у меня, и, глядя на него, я вспоминаю тот август, и хунхузов, и лотерею, и Екатеринин день, и как мать окаменела, увидев в коробочке свое кольцо, и сначала не хотела его брать, растерянно повторяя: "Нет, что вы! Что вы! Чепуха какая!" И внезапно заплакала. И потом они обнялись с Вероникой Николаевной и плакали уже вместе.

Ей было тогда лет сорок шесть, Веронике Николаевне, и она была красива: зеленоглазая, с тонким лицом и гладко зачесанными, собранными в узел седеющими волосами. Ее муж по фамилии Горенберг был значительно ее старше. Он управлял какой-то фабрикой, супруги были бездетны, жили за городом, в доме при фабрике. Когда с нами был отец, мы ездили туда в гости все четверо, позже – втроем. Тратить на поездку приходилось весь день – ездили на извозчике, – и мы посещали Горенбергов редко. Званы обычно бывали к обеду. Обед всегда был очень вкусный, особенно сладкое, и мечтой о предстоящем третьем блюде и были заняты наши с сестрой мысли во время супа и второго, из-за этого-то однажды все и вышло... В соседней комнате что-то тонко запищало, и Вероника Николаевна обратилась ко мне: “Как ты думаешь, Таточка, что это такое?” “Мороженое крутят!” – радостно выпалила я, было мне лет девять... Оказалось, это была недавно купленная канарейка, пробовавшая голос. Дальше – как в известном детском рассказе: “Все засмеялись, а Ваня заплакал”. Впрочем, я, кажется, не заплакала, но, выдав таким образом свои тайные корыстные помыслы, смущена была ужасно – этим “мороженым” меня еще долго дразнили дома... Было мне тем хуже, что Вероника Николаевна, красивая, пахнущая духами, всегда с нами ласковая, очень мне нравилась и муж ее, седой, бородатый и очень добрый, тоже нравился, и казалось, что теперь я перед ними навек опозорена, и я даже неохотно ехала к ним в следующий раз, а во-

обще-то для нас с сестрой поездки в этот дом были светлым праздником... Дом был просторный, многокомнатный, уютный, и вокруг него большой сад.

Вскоре после именин матери Вероника Николаевна овдовела. В Маньчжурии у нее не оставалось никого, все родственники в России. Туда она и уехала в середине тридцатых годов, и я не знаю, что с нею случилось.

В декабре этого же года моя бабушка, жившая в Ленинграде, пишет в Москву своей младшей дочери Марье Дмитриевне<sup>3</sup>: “Посылаю тебе, дорогая Мара, Катино письмо с описанием Шуриной хунхузской эпопеи. Теперь понятно, почему от него так долго не было вестей и уклончивые ответы Кати на мои вопросы. От меня скрывали. Сообщили постфактум. Шура вышел из больницы и теперь дома. Хунхузский плен отразился на его сердце и ревматизме. Ему не удастся пока наладиться со службой, и это влияет еще на нервы...”

И в следующем письме, от января 1934 года: “Шура все ищет занятий по садоводству. В новой империи что-то с работой не клеится, на линии железной дороги небезопасно... К счастью, книга его начинает понемногу продаваться. А вообще-то не время для научных работ, денег нет ни у кого... Катя пишет, что видит Шуру нечасто, он является к ней, лишь когда нужна помощь в переводах на английский

---

<sup>3</sup> В начале семидесятых годов моя тетка М. Д. Денисова передала мне хранившуюся у нее связку писем своей матери.



язык...

Какая именно книга моего ученого дядюшки начала “по-немногу продаваться”, мне, увы, неизвестно. Он много писал. Он все время писал. Целиком был погружен в свою науку, вне ее ничего не знал, ничего знать не хотел, ничем, никем не интересовался.

Вечер. Зима. Наша комната пахнет лекарствами – больна Гуля. Что-то было серьезное, опасались плеврита. (Мать панически боялась больниц, нас туда не отдавала, выхаживала сама; к счастью, мы редко болели...) Гуля дремлет на мамином диване, мать склонилась над ученическими тетрадями, я читаю. Является дядя Шура. Он оживлен. Какими-то опытами ему недавно удалось подтвердить свое давнее предположение о влиянии чего-то на какие-то породы деревьев, написал об этом статью, перевел на английский, но необходимо перевод проверить, поправить и – немедленно. Он не ощущает запаха лекарств и вообще ничего вокруг себя не видит. Ему говорят: “Тише! Она спит!” Это до него доходит, он понижает голос, но, забывшись, вновь повышает... Он не видит упрека в глазах моей матери и негодования в моих, он счастлив, сияет, ему удалось доказать, статья произведет фурор, еще недавно один американский ботаник отрицал... Я не выдерживаю: “Дядя Шура! У нас Гуля больна!” Он рассеянно: “Да? А что с ней?” И, не дождавшись ответа: “Катя, давай займемся, это у тебя отнимет час-два, не больше!”

Большой, неуклюжий, мятая рубашка, оторванная пуго-

вица на лоснящемся от старости пиджаке – кто стирал ему, кто заботился о нем, что он ел? Меня это тогда не интересовало, дядя Шура раздражал меня: неслыханный эгоизм, ему на все наплевать, кроме его растений, посадок, гербариев... Но вот мать отказывается немедленно заняться его переводом: “Оставь, когда будет время, посмотрю!” – и детски радостное сияние исчезает с лица дядюшки: “Но это же так срочно!” Ему вновь напоминают, что в комнате больная, на сей раз он вник, двигается на стуле, поднимаясь (стул трещит), печально направляется к двери, запоздало пытается оказать внимание больной: ступает осторожно, почти на цыпочках, и, конечно, по дороге что-то опрокидывает, этакий слон в посудной лавке... На улице мороз, а пальтишко у дяди Шуры демисезонное, потрепанное, надевает он его долго и неуклюже – сначала накинув на голову, а затем не сразу попадает в рукава, после чего ищет кепку. Куда он сунул ее? Ищем. Кепка сунута на верхушку гардероба (это ж придумать надо!) и, конечно, вся в пыли, дядя Шура пытается нахлобучить ее на свою седую голову, но я не даю, беру платяную щетку, выхожу в коридор, отряхиваю пыль, затем чищу, – боже мой, да эту кепку давно бы выбросить, уже неизвестно, какого она была в молодости цвета, какой формы...

Его работы знали и ценили в СССР.

Бабушка писала ему в 1931 году: “Вчера Мара много слышала о тебе в Институте прикладной ботаники. Ты им обещал еще в 1927 году статью о лекарственных растениях.

Твой сборник 1916 года стал библиографической редкостью. Географ Карл Крейцер тебе напоминает о статье и просит прислать на его имя по адресу: ул. Герцена (Морская), 44. Мара нашла твой сборник у букиниста и послала его в Симбирск. К. ужасно об этом жалел, если б он знал, что еще где-нибудь можно найти, он бы приобрел для своего института. Иван Владимирович<sup>4</sup> просит тебе передать, что твои предложения о сборе семян и грибов надо прямо адресовать Вавилову. Музей не имеет ничего общего с прикладной ботаникой, и при общей скудости денежных средств всякому ученому объединению приходится очень оглядываться. Вавилов поставлен на более широкую ногу...”

В июле 1934 года бабушка пишет в Москву Марье Дмитриевне: “Сейчас получила от Александра пять больших книг «Климат Маньчжурии». Знаю, что этой работой у нас интересуются. Давай подумаем, кому ее послать? Александр также прислал интересную статью «Тридцать пять лет знакомства с Иваном Владимировичем Мичуриным». Просит напечатать ее в «Мичуринском сборнике»”.

А вот письмо тому же адресату от июля 1935 года: “Шура очень стремится приехать на работу в Мичуринск. Быть может, это удастся ему, так хотелось бы! Ведь много из Маньчжурии возвращается железнодорожников!”

Но дяде Шуре вернуться не удалось, хотя стремился очень. Почему же? Смутно припоминаю разговоры на эту те-

---

<sup>4</sup> Мичурин.

му между мамой и Ч. Роджерсом, этим англичанином, говорившим на прекрасном русском языке и почти не знавшим английского... Между прочим, Роджерс был по образованию агрономом и дядю Шуру высоко ценил... Так вот, дело, кажется, обстояло так. Александр Дмитриевич написал Вавилову, спрашивая его о конкретной возможности приезда в СССР и получения там работы. Ответа на это письмо не последовало.

Железнодорожники уехали. Дядя Шура остался в Харбине.

Тем временем его труд “Климат Маньчжурии”, по словам бабушки (из письма ее Марье Дмитриевне от 1936 года), “здесь весьма оценили, отзываются с большой похвалой. Вот не знаю, есть ли экземпляр у Мультиановского? Между прочим, в марте праздновали тридцатипятилетие его научной деятельности и много говорили о его учителе, нашем климатологе, дядюшке профессоре. Ученик пошел против учителя, посвятив свою деятельность разработке предсказаний погоды. Несомненно, несколько прояснил этот трудный вопрос, во всяком случае, получил мировую известность... Но вернемся к нашим харбинцам. Катя пишет, что перевела большую статью Шуры о деревьях Маньчжурии. Живется Шуре очень тяжело, но он, по словам Кати, с изумительной настойчивостью пишет статьи, делает проекты, указывает на ошибки садоводов и этим наживает себе врагов. Неисправим!”

Несмотря на молчание Вавилова, дядя Шура надежды вернуться в Россию не оставлял и, видимо, в том же 1936 году опять делал какие-то шаги в этом направлении... Так мне думается, ибо в письме тетки Марьи Дмитриевны, адресованном моей матери и описывающем последние дни и смерть бабушки (октябрь 1936 года), встречаются такие строки: “Знаю, Катя, милая, как тебе сейчас тяжело. Но у тебя девочки, а наш бедный Александр один как перст... Его переезд сюда вряд ли осуществим, а теперь, после смерти мамы, и бесцелен”.

Плодовод, садовод, акклиматизатор растений, агроботаник и метеоролог Александр Дмитриевич Воейков скончался в 1944 году. В больнице? Или на железной койке в той жалкой комнате, где стол был завален бумагами и засохшими растениями, на гвозде висела старая кепка и везде валялись предметы одежды? Кроме кепки и этих предметов, никакого имущества после себя он не оставил. Большая часть собранных им коллекций погибла. Некрологов о нем не появилось. Лишь узенькое объявление на страницах эмигрантской газеты “Шанхайская заря”: “Е. Д. Ильина с дочерьми извещают друзей и знакомых о кончине брата и дяди Александра Дмитриевича ВОЕЙКОВА, скончавшегося после тяжелой болезни в г. Харбине”.

Мы с матерью жили тогда в Шанхае, там и служили панихиду по дяде Шуре.

# Мать Екатерина Дмитриевна

*Заметьте, что неуважение к предкам есть первый признак дикости и безнравственности.*

*А. С. Пушкин*

В дневниковой записи матери от августа 1922 года читаю: “Бедные мои девочки, они вырастут на всем новом, без этого аромата старины, нежного дыхания прошлого, которое окутывало все наше детство”.

Именно так и случилось. “Ароматы старины” не касались нас долгие годы, а к прошлому матери и семьи ее мы относились с глубоким равнодушием.

Отец, недурно рисовавший, изобразил акварельными красками гербы Ильиных и Воейковых: окантованные эти рисунки висели на стене столовой нашей бедной эмигрантской квартиры в те годы, когда отец еще жил с нами... Время от времени он начинал доказывать матери, что его род древнее Воейковых. Мать в спор не вступала. Не теряя, как всегда, самообладания, она достаивала собеседника лишь короткими репликами, это и выводило отца из себя, он горячился, повышал голос. Вспыльчивый и несдержанный, он горячился еще и потому, что вечно ощущал себя уязвленным. Он был уязвлен до революции: помнил, как долго колебалась моя мать, прежде чем решилась на брак с ним. Помнил, что

семья ее этот брак не одобряла. Он был уязвлен после революции: в эмигрантской жизни всегда зарабатывал меньше матери, она была главой семьи...

В детстве и отрочестве разговоры о родах и гербах меня не интересовали, а позже раздражали и смешили... Кредиторы стучат в дверь, неизвестно, чем мы будем сегодня обедать, к чему мне эти фамильные гербы? Старые материнские альбомы с фотографиями петербургской квартиры и дома в Самайкине (имение Воейковых под Сызранью) я рассматривала без интереса, рассказы матери о ее семье слушала из вежливости, а потом меня и вежливость покинула. Гордость матери своей семьей на фоне нашей унижительной бедности казалась мне и смешной, и жалкой, я прерывала ее нетерпеливым: “Ну да, ну да! Наши предки Рим спасли!” Или вычитанным у Горького сердитым: “В карете прошлого никуда не уедешь!” Мать замолкала оскорбленно.

Мне не забыть, как я обидела мать всего за месяц до ее кончины! В ноябрьской книжке журнала “Знамя” за 1965 год публиковалось окончание моего романа “Возвращение”, и там есть сцена, где Софья Павловна и графиня Эссельроде вспоминают прошлое, и Софья Павловна показывает графине старые альбомы с фотографиями. Мать не могла не узнать себя в этой сцене, тем более что в Шанхае в описанное мною время была среди наших знакомых старая графиня Нессельроде, промышленявшая уроками французского языка и гаданием на картах. Наблюдала я эту сцену с альбомом в жизни

или придумала – неважно, что-то похожее было, и я не без смущения ждала реакции матери. Ждала упреков, готовилась к отпору, ничего этого не последовало, мне было просто сказано с горечью и обидой в голосе: “Как ты могла?” Мои неискренние объяснения (“А с чего, дескать, ты взяла, что это о тебе?”) были встречены молчанием. Несколько дней мать была со мной холоднее обычного, и больше мы к этому не возвращались.

Вот так сравнительно недавно это было, а сегодня я бы уже не стала писать с насмешкой о двух пожилых женщинах, находящих утешение в старых альбомах и воспоминаниях прежней жизни. Сегодня, когда я сама иду по склону лет, я понимаю, что человек должен ощущать свои корни, признавать свою связь с прошлым. Сегодня я бы о многом расспросила свою мать, и сколько бы доставила ей радости моим – пусть поздно, но пробудившимся все-таки! – интересом к ее семье. Но матери нет, и уже не скажешь ей об этом.

В оставшихся после нее дневниковых тетрадях, рукописях, старых письмах – в этом бумажном ворохе я разбиралась постепенно, в течение нескольких лет. С удивлением я увидела начатые ею страницы воспоминаний, посвященные ее бабушке с материнской стороны Анне Павловне Толстой, и ее дяде (брату отца) Александру Ивановичу Воейкову, знаменитому ученому, географу и климатологу. Впрочем, о том, что она пишет о дядюшке профессоре, мать в свое время говорила мне, но я, видимо, не выразила желания



с этим познакомиться, а она из гордости не предложила мне.

В 1949 году Геофизической обсерватории под Ленинградом было присвоено имя А. И. Воейкова, а поселок Сельцы, где находилась обсерватория, стал называться Воейково. В 1957 году обсерватория отмечала сто пятнадцать лет со дня рождения первого русского климатолога и открывала ему памятник. На эти торжества мать ездила из Москвы вместе со своим единственным оставшимся в живых братом Иваном Дмитриевичем. А я не ездила. Хотя и мне было прислано персональное приглашение: Главная геофизическая обсерватория имени А. И. Воейкова просила меня “одиннадцатого мая сего года принять участие в торжественном собрании и заседании Ученого совета, посвященных 115 годовщине со дня рождения и открытию памятника АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ ВОЕЙКОВУ”. В приглашении заботливо добавлялось, что “в 14 часов 30 минут из Ленинграда в поселок Воейково отправляются автобусы” из такого-то места. Но я и не подумала ехать в Питер и пользоваться заботливыми автобусами. Я заранее была уверена, что на этих торжествах скука будет адовая, да и вообще не хотела пристраиваться к “семейному полонезу” – как я любила тогда выражаться... Это приглашение я куда-то сунула и забыла о нем, а много лет спустя с изумлением нашла его среди бумаг матери. Как она ухитрилась все хранить?

Там же я обнаружила письма бабушки Ольги Александровны, жившей в Ленинграде вместе с семьей своего тре-

тьего сына, горного инженера Дмитрия Дмитриевича Воейкова, и часто писавшей нам в Харбин. Эта находка меня не изумила. Я знала, как мать радовалась этим письмам, как ценила их, я помню многочисленные коробки из-под конфет, куда эти письма прятались... Осенью 1938 года мать навсегда покинула Харбин, приехав ко мне в Шанхай, в снимаемую мною десятиметровую комнату. Один из ее бедных чемоданов был набит пачками пожелтевшей бумаги. Я возмущалась. Ведь я предупреждала, что комната моя мала. Так неужели *это* надо было тащить с собой, неужели *это* нельзя было выбросить? Мне ответили очень тихо: “Не говори чепухи. Это письма бабушки!” С этими письмами мать не рассталась до смерти.

Я удосужилась в них разобраться, вникнуть, оценить, когда после кончины матери прошло пять лет, а после кончины бабушки – свыше тридцати... Письма посвящены описанию быта ленинградской семьи дяди Дмитрия Дмитриевича, сведениям о двух других братьях матери Павле и Иване и сестре Марье. Мелькают там также имена многочисленных друзей. Каждая строчка об оставшихся близких была матери нужна, важна, необходима, письма перечитывались, читались вслух, и, боже мой, сколько делалось попыток заинтересовать меня этими письмами, заставить оценить эпистолярный стиль бабушки – мать неизменно им восхищалась...

Из письма бабушки от 1929 года: “Очень рада, дорогая Катя, что ты находишь мои письма «изумительными». Не пой-

му лишь, чем они тебя изумляют: внешностью или содержанием? По внешности они похожи на счет от деревенского сапожника, а по содержанию умалчивают почти все, о чем хотелось бы сказать... Февральское небо сегодня то плюется дождиком, то снежными крупными хлопьями. Сыро. Холодно. Сажу дома. Никого из наших нет, и я обращаюсь к обществу отсутствующих”.

Из письма 1927 года: “Морозы сдались, к первому марту грозит оттепель, как и полагается на Масляной. К концу марта думаю перебраться к Маре в Симбирск. Я отдала в краску свой белый костюм, перекрашу его в черный. Летние туфли мне сделают из кожи козы томышевского происхождения, которую задавил поезд. Мара отдала кожу в отделку, купила подошву и прислала с оказией. Некий Волков, церковный регент и музыкант, шьет сапоги и при этом сочиняет музыку без всякого инструмента. Многие пробуют себя в чужих ролях, это какой-то феномен! Не знаю, что выйдет из комбинации томышевской козы и бывшего регента Смольного хора...”

Бабушкины письма пронизаны иронией, недоступной, разумеется, моему отроческому пониманию. Не могла я понять в те годы и мужества этой старой женщины, силы ее духа. Совершенно новые, непривычные условия жизни, в которых она очутилась, когда ей было уже за шестьдесят, не вызывают у нее ни раздражения, ни жалоб, напротив, стремление понять, принять... “У Димы были его студенты, и полдня

шумели за моей стеной молодые советские фавны. Много в них естественности, бодрости, простоты. Как не радоваться тому, что тысячи и тысячи их проснулись для культурной жизни!” “...так хотелось бы передать тебе, Катя, ощущение того, как, несмотря на трагизм многого, полной грудью дышит страна, вся в движении, в несомненном создании своего будущего”. “...Ну откуда, откуда у тебя эти слова о гибели культуры, Катя? Мне подарили два первых тома переводов Гёте. Кроме переводов Вяч. Иванова и немногих лучших старых – все они сделаны молодыми поэтами. Им принадлежат статьи и очень эрудитные примечания. Книг вообще выходит множество, и все раскупаются в несколько дней...” “На прошлой неделе лежала с гриппом, и Алина читала мне вслух Маяковского. Обе мы очень ценим его огромную требовательность к человеческому духу. Морозы суровые. Мечтаем об обилии воды в теплой комнате. Мечты эти несбыточны. Надо бы отремонтировать квартиру, но нет стекол, замазки, гвоздей. Много трудного. Ну что ж. Это крест на нас возложен, от которого никто не вправе уклониться”.

Сейчас, читая эти письма, я вспоминаю слова Ахматовой: “...мы ни единого удара не отклонили от себя. И знаем, что в оценке поздней оправдан будет каждый час... Но в мире нет людей бесслезней, надменнее и проще нас”.

В те далекие отроческие годы я ничего этого не понимала. И куда мне было догадаться, сколь драгоценны разбросанные по страницам писем сообщения о ценах, рынках, магазинах,

примусах, керосинках, обо всех мелочах быта, из которых складывается картина жизни тех лет... Впрочем, и позже, в годы молодости (бабушка писала нам вплоть до своей предсмертной болезни, до октября 1936-го), эти письма не интересовали меня. Я занята была своей жизнью, ее бедами, ее неустройством; то, о чем писала бабушка, было так далеко, так непонятно, как если бы происходило на другой планете. Подробности жизни родственников меня не занимали: одних я не помнила, других и вообще никогда не видела!

Но вот бабушку-то, бабушку Ольгу Александровну я знала и помнила очень хорошо! Дело в том, что ранней осенью 1924 года она приезжала к нам в Харбин.

Она привезла с собой внуков, детей ее старшего сына Александра Дмитриевича, жившего, как и мы, в Харбине. Шестнадцатилетний Алек был сыном разведенной жены дяди Шуры – Надежды Александровны Башмаковой. Сведения о матери десятилетней Муси у меня самые отрывочные – я даже имени ее не знаю! Была она хороша собой, совершенно одинока, бабушка приютила ее в Самайкине, не знаю, в какой роли, дядя Шура влюбился, был роман, родилась Муся. Муся родилась в 1914-м, а мать ее скончалась от туберкулеза, кажется, годом позже, девятнадцати лет от роду. Муся была незаконным ребенком, но дядя Шура ее удочерил.

Той осенью 1924 года я едва успела познакомиться с Алем и Мусей – дядя Шура сразу увез их к себе в Эхо. А бабушка стала жить с нами. Приехала ли она, чтобы остаться

с нами навсегда? Не знаю. Знаю, что она и года с нами не выдержала.

По случаю ее приезда нас с Гулей из маленькой комнаты перевели в большую и поставили туда для бабушки третью кровать, а столовой стала наша бывшая детская.

Я засыпала, когда за ширмой, отгораживающей бабушкину постель, горела лампочка, шуршали страницы – бабушка читала перед сном. Утром я заставляла ее совершенно одетой: юбка до полу, светлая блузка с кружевом у шеи... Однажды, проснувшись ночью, я увидела, что бабушка стоит ко мне спиной и смотрит в окно. А за окном тьма, ни палисадника не видно, ни пустынной Гиринской улицы, разве что кусок булыжной мостовой, освещенный фонарем, – во что она там всматривается?

Высокая худая фигура в чем-то белом, длинном, черепаховые шпильки в седых волосах... Задумавшись, бабушка постукивала по оконному переплету костяшками пальцев, не это ли легкое постукивание разбудило меня? За ширмой горела лампочка, она-то и позволила мне, когда бабушка обернулась, увидеть ее лицо. А я уже по выражению спины понимала, что бабушке плохо, и очень боялась: не плачет ли она? Но не было видно слез на этом красивом горбоносом узком лице, бабушка и слёзы вообще плохо между собой вязались. Сдержанность и величавость этой старой женщины (ей было в то время шестьдесят шесть лет) были на том же уровне, что сдержанность и величавость Ахматовой, ко-

торию я узнала тридцать лет спустя.

Слез не было. Лицо бабушки показалось мне сосредоточенно-суровым, я быстро закрыла глаза, чтобы она не заметила, что я за ней подсматриваю, а она ушла за ширму, погасила лампу и, ложась, тяжело, прерывисто вздохнула. Ужасно мне было ее жалко, утешить хотелось, но как? Это не была та бабушка-старушка, к которой можно прижаться, приласкаться... Она занималась со мной английским языком, а я во время уроков качалась на стуле и зевала, все прислушиваясь к тому, что там без меня делается во дворе, во что играют, а тут ночью, в порыве нежности и раскаяния, обещала себе больше не зевать и не качаться, но вряд ли меня надолго хватило... Вероятно, по прошествии двух-трех дней вновь зевала и качалась...

Ей было у нас плохо. Потому ли, что она видела неблагополучие и шаткость нашей семьи, несогласие моих родителей, изо всех сил, однако, старавшихся при ней не ссориться? Потому ли, что она не любила моего отца и он платил ей тем же? Или потому, что в этом русско-маньчжурском городе, в этом нелепом эмигрантском быте бабушка Ольга Александровна не могла, да и не хотела найти свое место?

И одиноко ей было. Все друзья остались в Питере, тут – никого, за исключением одной приятельницы молодости мисс Перси-Френч. (Как я позже узнала, Екатерина Максимилиановна Перси-Френч была дочерью англичанина и симбирской помещицы Киндяковой. Усадьба Киндяковых

описана Гончаровым в романе “Обрыв”.) Небольшого роста (куда ниже бабушки!), полная, безбровая, с маленькими глазками и тройным подбородком, она запомнилась мне главным образом своими необыкновенными шляпками, украшенными цветами и даже птицами. Она называла бабушку “Ольга”, но на “вы”, приезжала за ней в автомобиле, возила к себе. Шляпки с цветами, автомобиль, шофер, выскакивающий из машины, почтительно открывающий, а затем захлопывающий дверцу, – все говорило о богатстве мисс Перси-Френч, и я воображала себе прекрасный дом, в котором она живет, и большой сад и очень хотела там побывать; но меня никто туда не звал... Мисс Перси-Френч не могла заменить бабушке ее друзей, Харбин – любимый Питер, а мы с мамой – оставшихся в России других детей и внуков.

Моя мать надеялась, что бабушке у нас лучше, чем в Ленинграде. Там бабушке приходилось и в магазины ходить, и иногда даже стряпать – верх несчастья с точки зрения мамы, к хозяйственным заботам не приспособленной, стряпать не умевшей и уметь не желавшей. Мама преклонялась перед бабушкой Ольгой Александровной, была с ней любовно-почтительна, и, боже ты мой, как мне влетело однажды, когда мать во время моего с бабушкой урока вошла в комнату и застала меня зевающей! Живя у нас, бабушка была избавлена от хозяйственных тягот. В то время была кухарка, уже вертелась в доме портниха Ольга Васильевна и что-то бабушке шила, и мама покупала прекрасную плотную бумагу для ба-



бушковых бесконечных писем, а не на оберточной ли бумаге писала она в Ленинграде? Бабушке оставалось лишь украшать наш дом своим величественным присутствием, навещать мисс Перси-Френч, ходить в церковь и учить внушек английскому языку. Чем плохо было бабушке? Но она рвалась обратно. Говорила: “Я там нужнее!”

В августе 1925 года бабушка уехала обратно в Россию вместе с Алеком, и в альбоме матери сохранился плохонький любительский снимок проводов на вокзале.

Бабушка, одетая по-дорожному, по моде своего времени: светлый, видимо чесучовый, костюм, длинный жакет с карманами и юбка до полу, темная шляпка, а поверх нее газовый шарфик, завязанный у подбородка. Рядом моя мать, понимавшая, что это расставание – навсегда. Алек. Среднего роста, широкоплечий, в кепке, в рубашке с закатанными рукавами, славный сероглазый Алек, рыцарского нрава юноша, любимец детей и старых дам. Мисс Перси-Френч в более скромной, чем обычно, шляпке, и еще шляпки каких-то старушек – мне уже не вспомнить, кто они... На первом плане – светлая головенка и бант моей сестры. И Муся с темной челочкой, с мрачным исподлобья взглядом: Мусю отрывали от бабушки, оставляли с отцом, к которому она не успела привыкнуть...

“И все сии умерли, умерли...” Никого из тех, кто запечатлен на этом плохоньком снимке, нет в живых, никого, кроме моей сестры. Провожавшие бабушку старушки, включая

сюда мисс Перси-Френч, не могли уцелеть по возрасту; даже моей матери, тогда молодой, было бы сейчас за девяносто. Нет в живых и детей дяди Шуры. Муся, оставшаяся в Маньчжурии с отцом, умерла от туберкулеза в Циндао летом 1934 года, едва дожив до двадцатилетнего возраста. Алек, вернувшийся в Россию к матери, погиб тремя годами позже, не дожив до тридцати лет.

Долгие годы бабушкин отъезд терзал маму. Все ей казалось, что она чего-то для своей матери не сделала или что-то делала не так. Мама думала, что бабушка уехала от нас в Ленинград, потому что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла. Говорила: “Надо было немедленно снять квартиру побольше, тогда были на это деньги, я никогда себе не прощу, что поместила бабушку с вами двумя!” Или: “Надо было тогда же разводиться с вашим отцом, все равно к этому шло, пусть бы он уходил, и тогда я отдала бы бабушке нашу комнату, а сама спала бы в столовой!” По мнению мамы, сражение за бабушку было выиграно Ленинградом в лице семьи дяди Димы именно благодаря тому, что там-то у бабушки своя комната была! И поначалу хорошая комната. Позже, когда эту квартиру разделили, отрезав от нее половину, у бабушки все-таки был собственный угол: комната при кухне, ранее предназначавшаяся для прислуги...

Меня же ее отъезд не опечалил. Нет, печали не было. Боюсь: не было ли радости? Теперь никто не будет терзать меня уроками английского языка в те часы, когда все дети играют

на дворе...

Бабушка уехала, и вновь и вновь пошли от нее письма – фиолетовые чернила на серой, вроде бы с опилками бумаге, за которую цеплялось и брызгало перо. Мелкий почерк, строчки набегали друг на друга: бабушка все больше слепла...

Письмо из Симбирска, где весной 1927 года бабушка гостила у дочери Марьи Дмитриевны: “Глаза мои еще дают возможность писать, почти дотрагиваясь носом до бумаги. К сожалению, нос мой длинен, и если еще придется его приблизить, то уж некуда! Пока я вижу с помощью очков даль и красоту природы, лазурь небес и темную синеву Волги, яркую зелень молодого дуба и ветку сирени на кусту – я не жалею. Вероятно, это последний раз в жизни, что я провожу весну в этих условиях... На наших столах встретились сирень, ландыш и незабудка, даже по улице несется аромат яблони, сидеть под душистым деревом над самой Волгой в полном разливе, следить за движением плавно заворачивающего к пристани парохода – такое наслаждение!”

Некоторые письма были адресованы непосредственно мне или сестре моей, а бывало – нам обоим вместе. На них, увы, следовало отвечать. До сегодня звучит в моих ушах сердитый голос матери: “Как? Ты до сих пор не написала бабушке? Садись немедленно! Вот тебе бумага!” Я садилась немедленно – деваться некуда – и, тоскуя, выводила “Милая бабушка! Как ты поживаешь? (Зевала. Смотрела в окно.) У

нас идет дождь. Мы не ходили гулять, а играли дома. (Слегка оживляясь.) Нам подарили новую игру. Она называется «хальма»...

...Нет, связки бабушкиных писем, обнаруженных мною в архиве матери после смерти ее, не удивили меня, я знала, что она их хранила... Воспоминания о дядюшке профессоре тоже не удивили: я знала, что мать их писала, а познакомиться с ними – желания не выразила. Новостью для меня были начатые матерью мемуары, посвященные ее бабушке Анне Павловне Толстой. Уж если знаменитый дядюшка профессор так мало интересовал меня, то прабабка Толстая – и того меньше. Понимая это, мать не заикнулась мне, что пишет о ней. Но писала. Для кого? Для себя? Кто же пишет для себя?

Быть может, она знала, что настанет время, когда ее записки, дневники, письма, весь этот бумажный ворох понадобятся мне.

Он понадобился. Не будь его – разве бы я писала сейчас то, что пишу?

И очень удивила меня обнаруженная в этом ворохе зачетная книжка, ее-то, ее зачем хранила мать? Она менялась в лице, когда сестра или я пытались выбросить какую-нибудь бумажку, – мы-то любили выбрасывать! Мы часто переезжали, в наших бедных жилищах было тесно от бумаг и книг, но ничего не выбрасывалось! Как мы роптали с сестрой на

эту черту матери!

Я, разумеется, помнила, что с осени 1932-го по весну 1936 года слушала лекции на ориентальном факультете харбинского Института ориентальных и коммерческих наук. Основной предмет – китайский язык. Чему там еще меня учили – я забыла совершенно и никогда бы не вспомнила, если бы не эта зачетная книжка, матерью сбереженная.

Перелистывая ее, я выяснила, что училась хорошо (везде “вуд” – высшая оценка), и еще выяснила названия предметов, которым училась... История Китая и Маньчжурии, история Китайско-Восточной железной дороги, энциклопедия права, общее международное право, гражданское право, статистика...

Какая статистика? Чего статистика? Не помню! И вообще не помню ничего! В декабре 1936 года я из Харбина уехала в Шанхай, института не окончив, все, чему меня там учили, включая сюда и китайский язык (сколько ж сил и времени было на него убито!), мне никогда не пригодилось, и сейчас мне кажется, что это не я, это кто-то другой сдавал зачеты по энциклопедии права и какой-то статистике.

Среди профессоров был прокурор, по слухам – блестящий и в России когда-то широко известный, и читал он предмет, связанный с правом (гражданским ли, еще каким?), но мне не предмет запомнился, а облик этого старого элегантного человека и его остроумие, меня веселившее... Меня, видимо, радовало, что я понимаю тонкий юмор этого человека,

радовало, что узнаю что-то новое, и, вероятно, я гордилась собою, что способна эти радости испытывать.

Но я не имела на них права! Ремесло мне нужно было изучать, ремесло, которым можно деньги зарабатывать, а не тратить годы на “высшее образование”, на “общее развитие”, о которых твердила мать. Это она сунула меня в ориентальный институт. Она преподавала там английский язык, платили ей мало, но зато дирекция согласилась безвозмездно принять меня в студентки. Однако в нашем положении (а мы были в те годы катастрофически бедны!) высшее образование было роскошью непростительной, почему же мать не желала с этим согласиться?

Она никогда не умела взглянуть в глаза действительности, трезво ее оценить и поступать соответственно. Она долго не могла расстаться с кухаркой и даже с домашней портнихой, которые нас обкрадывали, и с квартирой, за которую нечем было платить. Мы увязали в долгах, но именины и дни рождения матери праздновались по-прежнему, с гостями и пирогами. В дневнике матери за 1931 год написано: “Зарабатывала я много меньше прежнего, а размах остался старый. Все казалось: где-то есть управляющий, и он пришлет деньги. Но денег никто не присылал, долги росли. Бушевали прачки, зеленщики, товарники<sup>5</sup>. Лавина долгов давила, душила, угнетала, действовала на нервы, пугала бедную Гулю: она часто оставалась дома одна и была вынуждена вести разговоры с

---

<sup>5</sup> Торговцы тканями и галантереей вразнос.

кредиторами...”

С осени 1932 года мы стали жить в доме, известном по имени владельца как дом Ягунова. Кухонь там не было, комнаты сдавались с обедами, и, вероятно, была у нас какая-то спиртовка, на которой мы грели воду для чая.

Вечерами я слушала лекции в ориентальном институте, утром и днем бегала по урокам. Сестра еще ходила в школу. Мать преподавала, переводила, что-то писала для газет. Везде платили мало, часто – неаккуратно, а кроме того, мать отличалась редким неумением экономить и всегда тратила больше, чем получала... О нашем положении расскажет запись из дневника матери от 17 мая 1933 года: “Вчера я заняла рубль у швейцара, чтобы отдать молочнику, который очень докучает бедным моим девочкам. А сегодня надо 60 копеек за чистку Гулиной юбки, иначе ее не пустят в класс. Все уже ходят в летней форме, одна Гуля в зимней! А юбка ее в чистке, а кофта у прачки, а у меня ни гроша. Ферто кё? Завтра в классе проверочная работа, прийти необходимо, иначе Гулю оставят на второй год. Бездна отчаянья у бедняжки! А я отмахнулась: «Ну где я тебе возьму? Пойди, наконец, к папе!» Папа! У него и двугривенного не выпросишь! Нет, сию минуту надо идти и где-то доставать деньги!”

(В Харбине ходили китайские даяны и японские иены, а позже занявшие Маньчжурию японцы ввели валюту Маньчжоу-Го, именуемую “гоби”, однако русские харбинцы называли все эти денежные единицы рублями и копейками.)

Почему же у папы нельзя было и двугривенного выпросить? Это нуждается в пояснении.

Мой отец был военным. Любил охоту, стрельбу в цель, верховую езду – в семье нашей долго хранился серебряный кубок, первый приз, полученный отцом на конноспортивных состязаниях в 1911 году. Был недурен собой: зеленоглазый шатен с правильными чертами лица, с ямочками на щеках, подтянутый и стройный, казавшийся выше своего среднего роста... Как все дворянские дети тех лет, болтал по-французски, но, кроме своего военного ремесла, не знал ничего, очутившись в эмиграции, растерялся, и все тяготы жизни легли на плечи матери. Ей, как всякой женщине, хотелось на кого-то опереться, к кому-то прислониться, а опереться было не на кого. Наездник, стрелок, танцор и ухажер, за которого она вышла замуж, оказался человеком слабым, легкомысленным, лишенным честолюбия и даже – безответственным.

Все это выяснилось еще до эмигрантского периода жизни моих родителей. В дневнике матери за февраль 1914 года я нахожу такую запись, сделанную на английском языке: “Мое замужество – ошибка. Ни опорой, ни поддержкой мой муж быть мне не может. Это просто раздражительный, легко падающий духом мальчик. Я должна думать о его экзаменах, о его академии, я должна одна думать обо всем!”

В то время они жили в военном городке под Новгородом, где служил отец и где мать, лишенная привычной петербургской жизни, очень тосковала. Она-то была и энергична, и че-



столюбива, это она заставила отца держать экзамены в академию, помогала ему к экзаменам готовиться, а меня еще не было на свете, и, видимо, эти занятия помогали матери переносить скуку военного городка и общество офицерских жен... Убеждена, что она сдала бы блестяще, но отец – провалился. Запись из ее дневника: “Я открыла дверь и увидела его несчастную фигуру, поднимавшуюся по лестнице. За сочинение поставили шесть<sup>6</sup> и к дальнейшим экзаменам не допустили”.

Мать была не из тех, кто смирялся и падал духом. Куда-то ездила, хлопотала, добилась того, что отцу было разрешено вновь держать экзамены на следующий год. Но – война, затем революция, пошли другие экзамены! Прежняя жизнь сметена. Вместо Новгорода и Петербурга – русско-китайский глубоко провинциальный Харбин, двухмесячное житье в вагоне на запасных путях харбинского вокзала, совершенно новые, непривычные условия эмигрантского существования.

Этих экзаменов отец тоже не выдержал: обо всем думала, обо всем заботилась мать, она была главой семьи. Полагаю, что в те годы она перестала чего-то ждать от своего мужа, он был ей уже совершенно ясен, относилась она к нему свысока, с оттенком иронии, близким друзьям говорила: “У меня ведь трое детей: девочки и Ильин!”

Самолюбие отца было, разумеется, уязвлено, он искал

---

<sup>6</sup> Действовала двенадцатибалльная система.

утешений на стороне и находил их. На романы его мать смотрела сквозь пальцы, однако, когда летом 1924 года он собрался было уйти к своей очередной даме, встревожилась. Мать считала, что следует сохранить семью ради детей, и сохранила, правда – ненадолго... Лучше бы не сохраняла! Детям плохо в искусственно сохраняемой семье, это я знаю по собственному опыту.

Родители старались не ссориться при нас, а уж если ссорились – переходили на французский язык, чтобы дети не понимали. Но дети понимали интонации, видели выражения лиц, а главное – постоянно ощущали неблагополучие дома. Я жила в вечном страхе, что *они* вот-вот начнут ссориться, вечерами прислушивалась к их голосам за стеной: мирно ли звучат? К обычным молитвам перед сном я прибавляла еще одну собственного сочинения: “Сделай, Господи, чтобы папа и мама не ссорились!” О мире в семье просила.

Но когда в нашем доме был мир, это был худой мир. Воскресные семейные обеды напоминали опасные прогулки по тонкому льду: каждую минуту следовало ждать, что ступишь не туда и насмерть захлебнешься... На какую-то реплику матери отец отвечал по-французски (а сердце мое уже падало), и через минуту отец – вспыльчивый, несдержанный – уже с грохотом отодвигает стул, уже хлопает дверью, уходя куда-то, а мы с сестрой сначала сидим, замерев, потом – плачем, мать строго: “Сейчас же прекратите и отправляйтесь в детскую!” – и старается делать вид перед кухаркой, что ниче-

го особенного не произошло... Мы идем в детскую и рыдаем там. Отец обещал пойти сегодня с нами на каток или гулять, но теперь никто никуда с нами не пойдет, мать будет лежать на диване, укрывшись своей любимой бархатной накидкой, и то ли читать, то ли дремать, и в доме будет тревожно-тихо, а нам что делать и как жить – неизвестно... Как я завидовала своим школьным подругам, в домах которых царили мир, тишина, согласие... Из моего тревожного, неуютного, непрочного дома меня тянуло в чужие дома, где были белые скатерти, желтые абажуры, кипящие самовары, мама, разливающая чай, добрый папа и всегда веселые дети...

Мне было тринадцать лет, когда отец счел нужным посвятить меня в свои разногласия с матерью. Повинуясь порыву (этот человек всегда повиновался порывам!), он разбудил меня среди ночи, сел ко мне на кровать, обнял за плечи: “Друг мой, твоя мама хочет от нас уйти, попросим ее этого не делать!” Спросонок я тряслась от холода и ужаса... Из соседней комнаты – голос матери: “Оставь девочку в покое, не лги ей!” И – мне, возникшей на пороге, мне, рыдающей и твердящей “я отравлюсь, я отравлюсь!”: “Никуда я от вас не уйду, никогда в жизни я вас не брошу, иди спать, Тата, ради бога, иди спать!”

Это было в то время, когда мать, окончательно убедившись, что из семейной жизни ее ничего не выйдет, и в самом деле хотела расстаться с отцом. Мать встретила другого человека, и ей, давно жаждавшей поддержки и опоры, показав-

лось, что на него опереться можно... Отец испугался развода, призвал на помощь меня и заставил маму обещать, что в течение двух лет она ничего не предпримет. Не знаю, почему именно двух. Знаю лишь, что сам-то он, не дождавшись конца этого срока, потребовал развода, ибо в его жизни тоже появилась другая женщина. Женщин в его жизни было много, но на этот раз дело обстояло серьезно: лучшая подруга моей матери, преподавательница английского языка, твердо решила женить его на себе. Получив развод, отец бросил службу (он служил тогда в Чаньчуне, не знаю в качестве кого, и приезжал в Харбин лишь на субботу и воскресенье) и, несмотря на данное слово, прекратил денежную помощь бывшей семье. Сначала еще платил за квартиру, затем кончилось и это. Жена отца много работала и неплохо зарабатывала (она была куда практичнее моей матери!), отец же занимался домашним хозяйством, писал мемуары и возмущенные письма в редакции газет (всегда чем-то возмущался!), занимался спортом, катался на коньках, в любые морозы ходил без шапки – закаленный был человек! Иногда в порыве отчаяния мать посылала нас к нему: “Идите к папе, в конце концов! Просите у него!” Но папа, к которому мы скрепя сердце шли, отвечал, что он, увы, безработный. И это неудивительно! Мир кишит безработными: в Америке их столько-то тысяч. В Англии – столько-то и во Франции – столько-то. Дав справку о числе безработных в мире, отец читал нам нотации. Мы обе в мать. Так же небрежны и расточи-

тельны, как она. Обувь и платья горят на нас, потому что мы не умеем заботиться о своей одежде. И тому подобное.

Вот запись из материнского дневника от 18 мая 1933 года: “Господи, как скучна эта благородная нищета! Вчера с утра пошла выручать Гулю. Редакция, где я надеялась получить четыре рубля, меня подвела! В результате бедная конторщица, у которой у самой дочь, дала мне рубль на спасение Гулиной юбки. Сегодня бедный обрадованный Гуль пошел в школу. Как мало человеку надо! А сейчас был управляющий с ультимативным письмом Ягунова. Я сказала, что завтра найду деньги. Завтра рождение Таты, а вместо того чтобы порадовать чем-то девочку, пойду продавать мамино кольцо. Как все это скучно до боли, до слез... Пыльный ветер, палящее солнце, головная боль...”

Долги. Унижения. Вечная нехватка денег на самое необходимое. Тем не менее мать в расчете неизвестно на что снимала в доме Ягунова вторую комнату. Сначала-то мы жили в одной, но затем двумя этажами ниже освободилась комната – и мать внезапно ее сняла. Для себя лично. Мы с сестрой ужаснулись. Понять не могли, зачем нужен этот добавочный расход, этот новый долг, ибо было ясно: платить за вторую комнату нечем. Ведь и за первую – нечем!

Мы не понимали. И все вокруг тоже не понимали. Дом был набит людьми, соседи слышали, как в нашу дверь стучали молочники, товарники, зеленщики и громко ругали нас. На какие же средства? Зачем? Поступок моей матери всем

казался странным. Она это чувствовала. Она писала: “Ку-мушки насторожились. Они изо всех сил стараются разгадать тайну комнаты № 43. Идут разговоры, что я поссорилась с дочерьми, поэтому и перешла вниз. Чепуха какая! Всегда боюсь набросить тень на моих сумбурных, подчас грубых, подчас надоедливых, но все же таких милых и *au fond des foods*<sup>7</sup> несчастных девочек!”

Зачем же нужна была матери вторая комната?

“Какое блаженство быть одной, сесть вечером за стол, писать, думать! Ужасно люблю возвращаться вечером в свою комнату, чувствовать свободу от мужа, от кухарки, которая влезала в мою жизнь, от детей, которые распоряжались моим досугом... Но страшно, что я зарываюсь в своих финансовых расчетах... С одной стороны, нужно одиночество для работы, а с другой – выдержит ли карман этот расход?”

Нам-то с сестрой было ясно, что карман не выдержит. И не было дня, чтобы мы не просили мать отказаться от второй комнаты. Мать и слышать об этом не хотела. Нам комната № 43 представлялась не роскошью даже, а безумием. Ей – необходимостью.

Она работала как выучная лошадь, а денег все равно не было из-за ее непрактичности, редкой бесхозяйственности, неумения жить. Вечные нехватки и долги унижали. А кроме того, незадолго до этого мать рассталась с человеком, из-за которого произошла та ночная сцена, когда отец меня разбу-

---

<sup>7</sup> В сущности (*фр.*).

дил... Не мать бросила этого человека, он ее оставил. И она чувствовала себя оскорбленной. Нам с сестрой по крайней нашей молодости и эгоизму тогда в голову не могло прийти, чем была для матери комната № 43.

“Только что вернулась из ресторана, где чествовали наше-го директора ориентального института. Два часа ночи. Вста-ла в шесть утра. Завтра в 7:30 первый урок. Надо спать. Но, попав в свою милую комнату, я захотела заглянуть в эту тет-радь. Из ресторана меня все тянуло домой именно из-за ком-наты. Как я люблю ее! Пришла сейчас, и такое спокойствие меня охватило!”

И она записывает в тетрадь свои мысли об одиночестве и вспомнившиеся ей изречения на эту тему Метерлинка и поэта-философа Гюйо. Изречения написаны по-французски. Мать, так же как и ее мать, моя бабушка, с одинаковой лег-костью писала на трех языках; в материнском дневнике и в письмах бабушки среди русского текста то и дело встречают-ся фразы, а иногда целые абзацы на французском и англий-ском...

“Я изменила своей привычке бывать всюду и везде. Си-жу вечерами дома. Кто знает, быть может, последний месяц я пользуюсь своей комнатой. Много читаю. Кончила книгу Цейтлина «Декабристы» и записки Кизеветтера «На рубеже двух столетий»... Прочла книгу об истории сионизма Бёма и книгу Пабста «Евреи»”.

(Шел 1933 год, газеты писали о расправе гитлеровцев с

евреями, вот, видимо, почему в то время мать интересовалась еврейским вопросом.)

“Интересны очерки о русских интеллигентах и военных, зарабатывающих себе на жизнь в Европе тяжелым трудом шоферов и рабочих... Прочла Слонима об Есенине, Маяковском, Эренбурге, Толстом... С интересом познакомилась с тонким докладом Ковьо о поэтах Франции”.

А вот запись от 24 мая 1933 года: “Сегодня дети голодные: им не дали обеда. Институт окончательно объявил неплатеж за май. Только бы не устать, только бы не впасть в отчаянье!”

27 мая. “Прочла Моруа *«Cercle de famille»*, глупо переведенный по-русски «Круг измен». Влюблена в эту комнату, которая дает возможность уединения. Слышится благовест Софийского храма. Видны крыши домов, купола церквей, яркая майская зелень. А наверху мои бедные обиженные девочки, у которых нет самого необходимого! Вчера Наталиша получила 10 рублей за урок, очень им порадовалась и заявила, что не будет покупать себе туфли, а отдаст эти деньги за обеды. Рано бедняжка начала бегать по урокам! Как бы хотелось расцветить ей жизнь!”

Следующая запись начинается так: “Утро вечера мудренее. Не будем думать о денежных кошмарах. Вспомним прошлое...”

И идут страницы воспоминаний. Петербург. Поездка в Италию. Самайкино. Дача в Финляндии. М. Л. Лозинский...

“...Лозинский – это Рождество в Финляндии, это усыпан-



ные снегом полянки, это наша милая дачка, чтение книги Ауслендера «Роза подо льдом», елка с подарками, первое радостное, большое чувство... Эта молчаливая любовь, которая была поначалу «светла, как зима», и из-за которой я так опрометчиво вышла замуж: жизнь все равно пропала, пусть хоть кто-нибудь будет счастлив!”

В этой своей записи мать приводит стихи Лозинского, ей посвященные, начинающиеся так: “Панна Воейкова, я сойду с ума, ждал ли я такого милого письма!” А я уже знала эти стихи, до чтения материнских дневников знала! В конце пятидесятых годов Анна Андреевна Ахматова протянула мне бумажку, исписанную незнакомым почерком: “Не вашей ли маме это было посвящено?” Добавила, что однажды Лозинский читал ей, Ахматовой, эти стихи, сказав: “Написал одной барышне”. Не знаю, почему у Анны Андреевны оказался черновик этого стихотворения. Она отдала его мне, а я отнесла матери. Ничего не объясняя, просто сказала: “Взгляни-ка!” И помню выражение изумления, почти испуга, появившегося на мамином старом лице, когда она увидела эту бумажку, этот почерк, эти стихи... Молча прочитала, подняла на меня глаза, явно сделав над собой усилие, чтобы голос звучал спокойно: “Откуда это у тебя?” Я сказала – откуда.

“Милый повеса, талантливый юноша, первая настоящая любовь моей петербургской юности” – так пишет мать о Михаиле Леонидовиче в своих более поздних дневниках. Известно ли ему было об этой любви? Что там произошло меж-

ду ними? Не знаю и не узнаю никогда. Никого больше нет, ни его, ни жены его Татьяны Борисовны, ни моей матери.

Он женился, а мать вышла замуж за моего отца, своего ровесника и дальнего родственника, который уже несколько лет добивался ее руки. Вышла *par dépit*<sup>8</sup>, как говаривали в старину. Решилась на это, однако, не сразу. По дневниковым ее записям вижу: очень колебалась. И не был он ко двору в маминой семье Воейковых, сплошь состоявшей из ученых. Но все-таки вышла. Поселилась с ним под Новгородом, и были там минуты, когда ей казалось, что она любит его, — опять сужу по дневникам...

Итак, в комнате № 43 мать вспоминала, читала, размышляла и записывала свои мысли то о символистах, то еще о каких-то литературных течениях. После целого дня беготни по редакциям и урокам, после ломбарда, где мать постоянно что-то закладывала, и иных отчаянных попыток достать рубль на обед — ее ждала комната № 43, заветная дневниковая тетрадь, вид из окна, уединение... Здесь мать забывала о своем нищенстве, становилась, как она писала, “сама собой”. Эта комната была единственным местом, где мать могла уважать и любить себя за то, что она на голову, на много голов выше по развитию, по образованию всех тех, кто унижал ее в течение дня: управляющего домом Ягунова, и газетного бухгалтера, и оценщика в ломбарде, и любопытствующих соседей... Эта комната была островком среди моря невзгод,

---

<sup>8</sup> С досады (*фр.*).

единственным местом, где мать ощущала почву под ногами.

Казалось бы: какая тут почва? За обе комнаты не плачено, за обеды – тоже, долги растут, кредиторы ежедневно наседают... Мы с сестрой осуждали мать и были по-своему правы. Когда в долг берется что-то необходимое – хлеб, молоко, обувь, это понять можно. Но снимать в долг лишнюю комнату! Но покупать в долг дорогой иллюстрированный журнал “Перезвоны”?

(Журнал этот издавался в Риге, был, кажется, ежемесячным, и каждый номер посвящался какому-нибудь художнику. Но был также номер, посвященный Эрмитажу, номер, посвященный Русскому музею и Третьяковской галерее... Репродукции этого журнала познакомили меня с Серовым, Суриковым, Нестеровым, Врубелем. В этом журнале я впервые прочитала рассказы Бунина, Шмелева, Ремизова и стихи Марины Цветаевой. Я с благодарностью вспоминаю журнал “Перезвоны”, но заодно помню, как приходил и требовал денег посыльный из книжного магазина.)

Мы с сестрой полагали, что драгоценный иллюстрированный журнал в нашей нищенской жизни – почти неприличен. Это же касалось и лишней комнаты. Разве нельзя обойтись без журнала, без комнаты? Разве это предметы первой необходимости?

Но мы не понимали тогда, что у нас и у матери были разные взгляды на то, что считать первой необходимостью. Мы-то не помнили, не знали иной жизни, кроме эмигрантской.

Мать сложилась и выросла в условиях совершенно других. И знала то, чего мы знать не могли: человеку, развившему свой интеллект, легче переносить невзгоды, ибо обеспечен тыл, куда можно уйти. Жизнь не удалась, рухнуло то и рухнуло это, но остаются книги, музыка, живопись, и тот, кто способен этим наслаждаться, – выстоит, не пропадет. “Пока есть книги, жизнь еще хороша!” – писала мать в дневнике. Этот тыл она стремилась обеспечить и дочерям. Сунула меня в ориентальный институт именно для “общего развития”.

А как я роптала на мать, очутившись в Шанхае! Четыре года потеряны в институте – да я бы за это время столько полезного могла выучить! Какое право имела я убивать годы на никому не нужное “высшее образование”? Мама во всем виновата, мама с ее непрактичностью, с ее полным непониманием требований жизни! Мама с ее вечным восклицанием: “Боже, до чего ты невежественна!” и с отчаянными попытками бороться с этим... В те годы, когда мы еще жили с отцом, мать уговорила старушку-француженку, какими-то судьбами заброшенную в Харбин, ежедневно у нас обедать, а вместо платы учить меня и сестру французскому языку... Позже я училась музыке, а мама взамен платы за мои уроки занималась английским языком с дочерью преподавательницы.

И ничему-то я не доучилась! Француженка, походив год, ходить перестала, уж не помню почему... Музыку я бросила сама: слишком много времени она отнимала. И ориенталь-

ный институт бросила, не окончив, когда догадалась, что все эти энциклопедии права и статистики мне совершенно ни к чему...

Попытки матери дать мне “общее развитие”, включающее сюда непременно музыку и французский язык, представлялись мне, когда я жила в Шанхае, жалкими, даже – патетическими. Шанхай учил трезвости. В середине тридцатых годов получить там работу русскому эмигранту было очень трудно (город был наводнен эмигрантами, бежавшими из Харбина от японцев), и все же люди, знающие ремесло, могли на что-то рассчитывать. А на что могла рассчитывать я? В иностранную фирму мне и сунуться было невозможно, я не знала ни стенографии, ни коммерческой корреспонденции, умела лишь на английской машинке печатать, но машинисток и без меня было предостаточно. Как я мечтала о службе в те годы, о своем столе за каким-нибудь из окон огромных зданий в деловой части города, о твердом жаловании... Я мечтала о прочности, а прочности не было, да и быть не могло: я ж ничего толком не умела! Со своим неоконченным высшим образованием, со своим недополученным “общим развитием” я бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для одного журнала, деньги за подписку для другого. Меня, как волка, кормили ноги, но кормили плохо, оплата была сдельная, и, заработав доллар сегодня, я никогда не знала, заработаю ли я его завтра...

И именно там, в Шанхае, мне вспомнилась однажды ночь,

когда я, проснувшись, увидела бабушку у окна нашей харбинской квартиры... Нет! Не потому она от нас уехала, что в нашей тесной квартире у нее не было своего угла! Она хотела быть дома, среди своих, среди соотечественников, не иметь отдельной от них судьбы, не быть, как мы, убежавшие, уехавшие, от всего оторванные, никуда не принадлежащие... Будь я тогда знакома с бабушкиными письмами – они мою догадку подтвердили бы. Она писала: “Надо ехать назад, милая Катя, эти скитания безнадежны, бессмысленны. Мне важно не чувствовать себя отмирающей веткой полусгнившего дерева, хочется думать, что мои ростки еще принесут свои плоды не на чужбине, на родной почве. Горько думать, что ты за границей, когда нам здесь так не хватает образованных людей!

...Как бы я хотела обнять тебя и девочек, пока мои старые глаза еще видят, если бы, если б ты смогла поселиться около нас! Голод и все жизненные трудности не так страшны, когда есть нравственное удовлетворение”.

Ей были хорошо известны все тяготы тогдашней, ее окружавшей действительности, а она – звала мою мать обратно!

По-видимому, изгнание казалось бабушке Ольге Александровне худшим из бедствий...

Но должны были пройти еще годы, годы, годы, пока эти строки бабушкиных писем попались мне на глаза...

Вернемся, однако, в Харбин, в год тридцать третий, в ком-

нату № 43, так безрассудно снятую моей матерью... Наслаждалась она этой комнатой месяца, кажется, три, и настал час, который должен был настать.

“Моя карта бита. Завтра перехожу наверх к девочкам. Я много теряла на своем веку. Потеряла родное Самайкино, финляндскую милую дачку, всю обстановку квартиры с любимыми книгами и картинами. Потеряла мужа, наконец. Потеряла человека, которому долго верила и который этого доверия не заслуживал. Я ко всему привыкла. Почему же теперь расставание с этой просторной и светлой комнатой мне кажется верхом несчастий?”

С этого дня и до моего отъезда в Шанхай мы так и жили втроем в одной комнате. Мать спала на диване, я на сундуке, с приставленной к нему табуреткой, сестра – на раскладушке. Из дома Ягунова нас скоро выгнали за неплатеж, мы переехали в другой дом, затем в третий... Неизменными оставались лишь диван, сундук, раскладушка.

Мать лишилась прекрасных часов уединения. Но не сдалась. И читать вечерами продолжала, и дневник урывками вела...

“Читаю А. П. Керн «Воспоминания... Письма»... Одиннадцать часов, девочки хотят спать, надо гасить свет, а мне хочется выписать цитату из Керн...”

Цитата выписана. Выписана по-французски: видимо, на этом языке мать читала воспоминания Керн. А говорится в этой цитате о высоких страданиях сердца, мимо которых

проходят, не догадываясь о них, самые иногда лучшие люди, как если бы они топтали цветы, не замечая этого. Мать добавляет от себя, что мысль эта перекликается со стихотворением Вл. Соловьева, и приводит стихи на память...

Керн. Соловьев. Цитаты, цветы, стихи. Продавленные пружины старого дивана, ветхие простыни, обшарпанный буфет, возимый нами с квартиры на квартиру, и мы с сестрой – длинноногие, длиннорукие, бог знает во что одетые и часто между собой ссорящиеся... Издерганные чуть не ежедневными визитами кредиторов, недоедающие, умирающие от желания быть одетыми не хуже своих подруг, но знающие, что желание это неосуществимо, – мы, видимо, вымещали свои обиды друг на друге... Мы мало виделись (я стремилась поменьше бывать дома), встречались лишь вечером, перед сном, и, встретясь, неизменно ругались. Мы спорили о том, чья очередь мыть посуду и убирать комнату, о том, кто завтра должен первый встать, чтобы вскипятить чайник, и тому подобное. Случалось, что споры наши переходили в драку.

Помню, как меня пригласил в кино один приятный молодой человек, и я, будучи дома одна, тщательно готовилась к свиданию: штопала, чистила, гладила, вертелась перед зеркалом, с тоской глядя на жалкое пальтишко, на дешевые чулки, на сношенные туфли, и вдруг вспомнила о клетчатом шотландском шерстяном дивной красы шарфике, подаренном моей сестре ее подругой. Мне показалось, что шарфик меня спасет, и я извлекла его из comodного ящика сестры,



где все было уложено с ей свойственной маниакальной аккуратностью. Украсившись шарфиком, я собралась было покинуть помещение, как на пороге выросла откуда-то не вовремя вернувшаяся Гуля. С бьющимся сердцем, стараясь улыбаться ласково и приветливо, я сделала попытку проскользнуть в дверь, удрать, но сестра дверь загородила, страшными глазами уставясь на яркие клетки шарфика. Крикнула: “Как ты смела? Без спросу?” – “Пожалуйста, – заискивающе сказала я. – Только на этот вечер!” – “Сейчас же сними!” Тут она попыталась сдернуть шарфик с моей шеи, и я не далась, она кинулась на меня, я стала защищаться. И мы, уже плача, били друг друга, и полагаю, что на свидание с приятным молодым человеком я так и не попала.

И еще одна драка запомнилась. Я поздно вернулась домой, но мать не спала, читала в постели, держа книгу у близирущих глаз, загородив лампу газетой. А Гуля спала. Но не на своей раскладушке, а – о ужас, о предательство! – на моем сундуке! Бывали уже эти разговоры: “Почему я должна каждый вечер расставлять походную кровать? Давай по очереди!” – “Вот еще! Ты – младшая!” А теперь она явочным порядком заняла мой сундук, но я этого не потерплю. “Мама! Почему она спит на моем месте?” – “Не знаю. Ложись. Поздно”. – “Куда? Я не лягу на походную кровать!” – “Ложись куда хочешь, только оставь меня в покое!” Мать читала.

Я разбудила бедную Гулю варварским способом: сдернула ее с сундука. Совершенно не помню, чем это кончилось, кто

из нас спал в ту ночь на вожделенном сундуке. Помню лишь, как грохотала, упав на пол, приставленная табуретка, как мы колотили друг друга, что-то сердито выкрикивая... Время от времени, не поднимая головы от книги, мать произносила рассеянно: “Прекратите немедленно”.

Что она читала в ту ночь? Воспоминания Керн, чьи-нибудь стихи, какую-нибудь “тонкую статью” или просто французский роман? Неважно. Важно, что она *могла* читать в этой обстановке. И я до сегодня не знаю: сила это была ее или слабость.

Сестра и я были (и остались) вспыльчивыми, раздражительными, бурными в гневе, но отходчивыми. Мать голоса никогда не повышала. Сердясь, она бледнела и говорила тише обычного. Выходила из себя чрезвычайно редко, и в те годы я не видела ее плачущей. Она гордилась своей выдержкой, умением владеть собой, считая, что это дано ей породой и воспитанием. Любила рассказывать, как ее мать, моя бабушка, давным-давно сказала своим дочерям, когда они себя повели как-то не так: “*Vous vous conduisez comme des petites femmes de chambre*”. “И я, – говорила мать, – эти слова запомнила на всю жизнь!” Я же совершенно не понимала, что в этих словах такого запоминающегося. Если бы нам с Гулей во время нашей очередной ссоры сказали: “Вы ведете себя как горничные!” – мы бы и ухом не повели, не то что запомнить на всю жизнь.

Зато на всю жизнь мне запомнилось, как мать однажды

вышла из себя. Случилось это из-за коричневой вязаной кофточки с красными, в виде шариков пуговицами. Стоила она 10 гоби – мы уже жили на валюту Маньчжоу-Го. Я давно любовалась этой кофточкой, выставленной в витрине магазина, страстно о ней мечтала и наконец не вытерпела. Получила 15 “гоби” за урок и, вместо того чтобы отдать эти деньги матери (надо было заткнуть какую-то очередную дыру), вошла в магазин и, понимая, что совершаю безумие, ощущая себя растратчицей, преступницей, купила кофточку. Вечером отдала матери 5 гоби: “А остальные?” Вместо ответа я показала кофточку и какие-то слова начала бормотать в свое оправдание, но осеклась... Лицо матери окаменело, глаза сузились – это доброго не предвещало. Но уж того, что последовало, ожидать я никак не могла! “Вот как, – очень тихо произнесла мать, – вот как...” И внезапно, схватив со стола первое, что подвернулось под руку (подвернулся будильник), ударила меня по плечу... Несколько раз она ударила меня будильником (я же, остолбенев, даже не отклонилась!), повторяя: “Кругом в долгах, а она – кофточку! Я одна разрываюсь, ваш отец знать ничего не желает, а она – кофточку!” Потом, бросив будильник, который вдруг затрезвонил на полу, заплакала. Ее слезы (я их прежде не видела!), идиотский звон будильника (я подобрала его, но не могла сообразить, как заставить умолкнуть) – разрывали мне сердце. Я тоже плакала от обиды, от жалости к себе, от жалости к матери... Впрочем, не уверена, что в тот момент я жалела ее.

Это, вероятно, потом, позже я ее жалела, потому что по сей день вижу, как она своей тонкой слабой рукой беспомощно колотила меня будильником...

Рассказ об этом эпизоде хотелось бы кончить тем, что мы упали в объятия друг друга, смешали свои слезы, и мать простила мне кофточку, а я ей – будильник. Объятий не было. Объяснений тоже. Проявления чувств не были в характере моей матери. Пуще огня она боялась разговоров по душам – это казалось ей сентиментальностью. Она была нормальной матерью в том смысле, что любила своих детей больше всего на свете, однако чувств своих нам не показывала и если говорила что-то ласковое, то с оттенком насмешки, будто иронизируя над тем, кто такие слова мог произносить всерьез.

Я же была и чувствительна, и эмоциональна, но отклоняющая рука матери сделала то, что я никогда не была с ней откровенна, всегда искала на стороне тех, кому могла излить душу.

Эпизод, вероятно, кончился тем, что мать, сердясь на меня уже не за кофточку, а за то, что я оказалась свидетелем ее взрыва, ее слабости, избегала на меня глядеть, была неразговорчива, холодна. И мы обе делали вид, что ничего не произошло.

В двадцатые годы еще хранилась инерция прежней жизни. Была квартира, скромная, но как-никак трехкомнатная, с ванной, окна выходили в палисадник, и палисадник счи-

тался нашим. В квартире этой часто собирались литераторы, заброшенные эмигрантской волной в Харбин: Арсений Несмелов, Леонид Ещин, Всеволод Н. Иванов, Борис Бета... И Сергей Алымов там промелькнул, и Петров-Скиталец... Они ужинали, пили водку, читали стихи – свои и чужие. В те годы квартира моих родителей была центром харбинской литературной жизни: все пишущее, все одаренное непременно проходило через этот дом. А моя мать никакими талантами не обладала. Одаренным человеком был скорее отец: он писал недурные рассказы, недурно рисовал, мог спеть и, кроме того, был веселым собутыльником, остряком и анекдотчиком. Видимо, притягательная сила квартиры объяснялась тем, что литературу мать любила, понимала, был у нее тонкий вкус и чувство слова. Она была молода, образованна, привлекательна. Среднего роста, кареглазая, темноволосая, тонкококстная, очень стройная – моя мать с ее вздернутым носом и неправильными чертами лица красивой не была. Привлекали в ней ее женственность, мягкая ирония, тихий голос, сдержанность, умение казаться хорошо одетой в перелицованных пальто и перешитых платьях.

В первые годы нашей харбинской жизни была еще жива няня Прасковья Андреевна Матвеева, уроженка Новгородской губернии, взятая в дом незадолго до моего появления на свет. Летом 1919 года в Омске я болела дифтеритом, мать сидела около меня, а няня, обливаясь слезами, обегала все аптеки города и чистым чудом достала сыворотку. Няня,

впрочем, позже уверяла, что не сыворотка спасла меня, а образок Пантелеймона Целителя, который она тогда повесила мне на шею, и я долго его носила, где-то он теперь? Когда нас везли из Омска в сыпнотифозном вагоне, у няни, боявшейся заразиться, внезапно поднялась температура (бывает, говорят, нервный сыпной тиф), но, к счастью, у меня заболел живот, и няня забыла о себе... Она умерла от воспаления легких в темные декабрьские дни 1921 года... "Как мне жаль няню Пашу! – писала из Москвы моя бабушка в феврале 1922 года. – Как бы хотелось увидеть ее, как бы хотелось знать, что она отдохнула душой на родной стороне! Завтра помяну бедную Прасковью, умевшую любить до конца, завершившую своей смертью преданность своим питомцам. Сегодня у всенощной мне все вспоминалась она с ее суетой, благочестием и такой теплой душой, да будет ей легка чужая, далекая земля! Горячо молилась сегодня за вас, за наше будущее свидание, за спасение страждущей державы Российской – так молится сейчас наша церковь. Я хожу в церковь Старого Пимена, что на Воротниках. Поют чудно, на манер Архангельских хоров, аккордами. Так хорошо постоять в церкви под звуки знакомых песнопений, подумать обо всем былом, обо всех отсутствующих и о стольких отошедших. Сколько же, Господи, утрат за эти годы!"

Няня умерла, но налаженный ею уклад прежней русской жизни еще какое-то время по инерции продолжался. В Екатеринин день приглашался священник, служил на дому мо-

лебен и вместе с дьяконом оставался на пирог. Гости шли с полудня до вечера. В передней не хватало места для верхней одежды, ее сваливали на кровати в детской, где тихо сидели мы с Гулей – за стол с гостями нас не допускали. Отец своим командирским баритоном вызывал нас здороваться с новоприбывшими и прощаться с уходящими. Нам говорили: “Как выросли!”, “Вылитый папа!” или “Вылитая мама!” После чего отец командовал: “Марш в детскую!” Все это повторялось в первый день Пасхи, но без отца: он сам делал в этот день визиты и возвращался сильно навеселе. У стола, уставленного куличами, пасхами (сырыми и вареными), крашеными яйцами, разноцветными, окружавшими окорок, бутылками, мать принимала визитеров. На Рождество была елка. В Великий пост – постились и говели. После смерти няни у нас были часто сменяющиеся кухарки. С каждым годом жить становилось труднее, но от молебнов на дому, пирогов, пасхальных столов, гостей, а также литераторов, закусывающих, выпивающих и стихи читающих, мать не могла отказаться долго. Эта жизнь надломилась в конце двадцатых годов после ухода отца.

Начались переезды, причем каждая следующая квартира была хуже предыдущей.

Запись из дневника матери от августа 1932 года: “Захотелось вдруг подвести какие-то итоги. Почему мы с девочками очутились здесь, на окраине города, в деревянном домике без всяких удобств? Предыдущая наша квартира из трех

крошечных комнат стоила 35 иен, а иена котировалась больше 3 долларов. Вот и приходилось мне целый день летать по городу. В 7:30 утра я выходила из дому, мчалась к Лю Цзе-жунь, получая там за урок с детьми 40 д., что было в прошлую зиму не более 12–15 иен. Проводила я там полтора часа и много времени теряла на поездку, ожидая трамвая и промерзая на холодном ветру. Три раза в неделю летала на Пристань на урок к Б., давала также уроки в Коммерческом училище. Мчалась домой, наскоро обедала, затем давала еще два урока на дому учеников, после чего – лекции в ориентальном институте. Были и еще уроки втиснуты. Минуты свободной не оставалось. Если удавалось достать в газетах переводы – делала их ночью. А денег все равно не хватало...”

Бегала весь день, ела на ходу, иногда, не поспевая домой, и вообще весь день не ела, мерзла на трамвайных остановках, работала ночами и при своем слабом сердце все это выдерживала, я не помню, чтобы она хворала в Харбине. Иногда мне кажется, что она удерживалась от болезней силой воли, твердила себе, что не имеет права болеть, если она свалится – мы погибнем.

Осенью 1919 года в Омске, когда отца с нами не было, он где-то воевал, маму свалил сыпной тиф. Вот что она сама пишет об этом: “Моя подруга по Таганцевской гимназии Лёля Д., старшая сестра госпиталя Американского Красного Креста, рассказывала мне о зрелище, которое она застала,



приехав ко мне домой. Электричества почему-то не было, горела свеча. Я лежала на кровати, передо мной на одеяле были рассыпаны часы, кольца, медальоны – видимо, я хотела передать их няне, понимая, что мне плохо. Лёля измерила температуру. Оказалось: сорок один и две. Прибежала из аптеки няня. «Не надо, нянечка, – сказала Лёля, – мы вашу маму в госпиталь возьмем». Смутно помню спешные сборы, страшные, неумные крики Таточки: «Маму, маму мою увозят!» Эти крики слышались мне еще долго, когда автомобиль увозил меня далеко за город. Эти крики спасли мне жизнь. Лёля рассказывала, что когда на другой день у меня появилась сыпь и я поняла опасность, я днем и ночью кричала в истошный голос: «Я не могу умереть, у меня дети! Я не могу умереть!» И не умерла. К няне приезжал американец Мак Найт, жестами показывал няне рост разных людей, повторяя: «Миссис Ильин, няня, Тата – олл<sup>9</sup> Чита!» И так нас увезли на восток, меня в полузабытьи до наступления кризиса. Дети и няня были в том же вагоне, что больные”.

...Спрашивая себя в дневнике, каким образом мы доказались до домика на окраине без удобств, мать сознается: “Жила я, конечно, безумно. Не имела права ни на дорогую квартиру, ни на кухарку за 25 долларов. А главное, давно следовало расстаться с портнихой Ольгой Васильевной. Она, ее муж и дочь привыкли кормиться за мой счет и воровали.

---

<sup>9</sup> Все (англ.).

Я уволила кухарку, готовить нам стала Тамара, дочь Ольги Васильевны, а денег все равно не хватало!”

Мать любила покровительствовать. Ей нравились те, кто без возражений принимали ее превосходство, стояли как бы на другой ступеньке, на ступеньке пониже... Эта черта матери и сделала возможным появление в нашем доме портнихи Ольги Васильевны, которая присосалась к нам на долгие годы. Худа она была чрезмерно, будто сжигаемая внутренним огнем, с дурными зубами, неглубоко посаженными черными глазками. Ольга Васильевна у нас не жила, но появлялась ежедневно, играя при матери роль как бы камеристки... Она и шила на швейной машине покойной няни, и завивала горячими щипцами, и сплетничала, и льстила. Завивая мою мать, Ольга Васильевна восхищалась густотой ее волос, примеряя блузки – хвалила фигуру, и непременно при этом вспоминалась какая-нибудь мамина знакомая, у которой и волосы дурны, и фигура никуда не годится. Мать слушала Ольгу Васильевну благосклонно и останавливала ее, лишь когда та уж совершенно распоясывалась, теряя всякое чувство меры и в лести, и в сплетнях. Пока отец жил с нами, Ольга Васильевна не позволяла себе ругать его открыто, лишь мимикой, улыбочками, намеками, отдельными словечками, будто вырвавшимся против ее воли, давала понять, что глубоко осуждает Иосифа Сергеевича, не умеющего ценить сокровище, которое судьба дала ему в жены. А когда отец ушел, Ольга Васильевна в каждое свое появление ругала его и его новую же-

ну, всегда принося с собой какие-нибудь свежие, их порочащие сведения... Нам с сестрой слышать это было мучительно, но вмешаться мы не могли, говорили не с нами, мы даже не присутствовали, разговор шел в соседней комнате, обращались к нашей матери, а она Ольгу Васильевну не останавливала, это-то, вероятно, и было нам мучительно.

Когда мы переезжали в ту маленькую квартирку, стоившую 35 иен в месяц, то всеми хлопотами по переезду заведовала Ольга Васильевна. В то время была у нас кухарка, но скоро Ольга Васильевна кухарку выжила, убедив мою мать, что будет дешевле, если стряпать нам будет Тамара. Постоянное присутствие дочери Ольги Васильевны в доме говорило о том, что власти над нашей семьей Ольга Васильевна делить уже ни с кем не намерена. Был у нее и муж, рыжий пьяница по фамилии Трушков, неясно чем занимавшийся. Деньги на хозяйство выдавались Ольге Васильевне, счетов мать не проверяла, ведь Ольга Васильевна – свой человек! Этот “свой человек” вскоре убедился, что дела наши идут все хуже и просвета не видно, только предлога ждал, чтобы сбежать с тонущего корабля.

Предлог представился. Мать, уходившая с утра, вернулась как-то домой раньше обычного и застала на кухне всю семью Трушковых. Они обедали, и перед главой семьи стояла бутылка, купленная явно не на его счет. Вероятно, мать по этому поводу что-то сказала, и разразился скандал. Мы с Гулей обмерли, услышав громкий, нагло-издевательский голос

нашей кроткой, услужливой, лстивой Ольги Васильевны: “Барыня! Подумаешь!” Голоса матери слышно не было. По-видимому, она произнесла что-то вроде: “Немедленно вон!” Затем вошла в свою комнату и затворила дверь. Из кухни же доносились крики Трушковых. Пошумев какое-то время, они покинули нас навсегда, захватив с собою ряд вещей, им не принадлежавших.

А мы с Гулей струсили. Перед собой и друг другом делали вид, что читаем, нам было стыдно, что мы слышали, как оскорбляют нашу мать. И нас поразило, что Ольга Васильевна, вечно ругавшая нашего отца, на этот раз кричала другое: “Ушел? И хорошо сделал! От такой жены уйдешь!” Не только Ольга Васильевна, но и муж ее, и дочь были всегда смирными, услужливыми, и перемена, в них происшедшая, пронзила нас до оцепенения... Тот день врезался в память, видимо, потому, что впервые я увидела вблизи распоясавшегося хама.

Подводя итоги, стараясь понять, почему, несмотря на ее адскую работу, “денег всегда не хватало”, мать в той дневниковой записи справедливо указывала на семью Трушковых как на одну из причин... В той же записи – читаю: “Всю неделю мечтаешь об отдыхе, о том, чтобы никуда не бежать, на часы не смотреть, и вот наступает долгожданное воскресенье. И лучше бы не наступало. Боюсь воскресений. Девочки скоро уйдут от меня. Одиночество, которое уже сейчас начинает угнетать, со временем будет еще тяжелее. Красота жиз-

ни, искусство, умные люди, интересные беседы – все ушло. Впереди борьба за кусок хлеба, старость, болезни, одиночество. Ибо после всех странствий, после всех бурь житейских к сорока пяти годам я пришла к блестящему фиаско: я одна, одна, одна!”

Года за два до этой дневниковой записи мать рассталась с человеком, которого, быть может, любила. Я едва его знала. Мне было тринадцать лет, когда я увидела его впервые. Откуда-то вернувшись, застала у нас незнакомца, мать поила его чаем, отца дома не было, он служил тогда в Чаньчуне... Мне не понравилось, как мать смотрела на незнакомца, а он – на нее, и что-то было виновато-заискивающее в их обращении со мной. Я отказалась от чая, ушла к себе, стала читать, читать не могла, все прислушивалась, о чем они там говорят, и мне не нравились интонации. А потом была та вышеописанная сцена, когда отец разбудил меня ночью, сказав, что мама хочет от нас уйти, и я рыдала и догадалась, что всему виной тот человек, которого я уже ненавидела... Больше он к нам в дом не приходил. Но однажды я встретила мать на улице с ним под руку, бросилась от них бежать, мать кинулась за мной, поймала, обняла, я вырывалась, отворачивалась, плакала... Происходило это где-то недалеко от нашего дома, были сумерки, шел снег. Мать повела меня домой, я не очень сопротивлялась, хотя твердила, что убегу, убегу, убегу, – интересно, куда я собиралась бежать? Очень жалела себя. Мать не жалела нисколько, пожалела ее лишь спу-

стя много лет. В тот вечер я торжествовала, что ненавистный этот человек остался там один на улице, мама его бросила, ушла со мной, обеспокоена, уговаривает меня, утешает.

С той поры я этого человека больше не видела, но почему-то знала, что мать продолжает с ним встречаться, а позже почему-то знала, что между ними все кончено. Как протекал их роман, что собою представлял этот человек, почему они расстались – все это я узнала лишь после смерти матери из ее дневников. А при ее жизни разговоров о нем у нас не было, даже на улице, когда я собиралась убежать, не было. Своих чувств я больше не показывала, делала вид, что ничего не знаю о личной жизни матери, а она делала вид, что этому верит. Позже я старалась скрыть от матери свои увлечения, свои романы. Так сложились наши отношения – никогда никаких откровенных разговоров.

Своими мыслями, чувствами, впечатлениями от прочитанных книг я делилась с кем угодно, только не с матерью. Я пыталась иногда начинать беседы на отвлеченные темы, но быстро замолкала – в глазах матери мне чудились ирония, снисходительность, меня не принимали всерьез! Она тщеславилась тем, что мне легко дается учение, даже хвасталась друзьям моими способностями и памятью, но эмоциональность моего нрава, экспансивность, несдержанность шокировали ее и раздражали. Никогда не было между нами намек на душевную близость.

Мать иронизировала над окружающими, считала себя вы-

ше их, но их мнение было для нее важно чрезвычайно. Заво-та о декоруме, о стороне внешней не покидала ее всю жизнь. Восхищение окружавших было для нее важнее хлеба, она придумала себе роль мужественной женщины, не склоняю-щей головы под ударами судьбы, никогда не жалующейся, всегда немного насмешливой. При посторонних она иначе разговаривала со мной, чем наедине, называла меня “Ната-ли” и “моя непочтительная дочь”. Это сердило меня, я от-казывалась участвовать в игре... Неумелая, непрактичная, она стремилась, однако, к влиятельным знакомствам, в на-ших жалких комнатах устраивались жалкие чаи для како-го-нибудь англичанина с женой, или француза, или итальян-ца... Жалкость обстановки мать не смущала, напротив: “*A la guerre comme a la guerre*”<sup>10</sup> и “Полюбуйтесь, до чего доведены люди моего круга!” Именно благодаря какому-то доброму англичанину, пившему у нас чай, я получила работу в жур-нале – об этом расскажу позже. Знакомство же, которое мать завела с находившимся в Харбине проездом милейшим ста-рым французом мсье Массне, изменило впоследствии всю жизнь моей сестры.

Я дважды разлучалась с матерью: два года жила без нее в Шанхае, семь лет в СССР. Находясь от нее вдалеке, я немед-ленно забывала все то, что осуждала в ней, мне помнились лишь ее закрывающиеся от усталости глаза и как скрипе-ло по ночам ее перо. На расстоянии я ощущала ее любовь,

---

<sup>10</sup> На войне как на войне (фр. пословица).

беспокойство, тревогу, во мне постоянно жило желание утешить ее и поддержать, и письма мои бывали длинными и нежными. Я не грешна перед ней, пожалуй, только тем, что никогда не оставляла ее без вестей о себе. Ее письма тоже были нежнее и раскованнее, чем наши с ней беседы, хотя гораздо сдержаннее моих, и подписывалась она неизменно так: “Мать”. Однако стоило нам встретиться, как отношения тут же попадали в прежнюю колею, и опять я чувствовала, что меня не принимают всерьез, и не хотела делиться с ней тем, чем в данный момент жила.

Я знаю, что в последний московский период жизни матери ее, уже старую женщину, мучила моя с ней неоткровенность, моя от нее отдаленность. Присущий ей гонор никогда не позволял ей высказать это прямо. Она задавала мне вопросы, а в глазах настороженность, даже испуг: она предвидела, что отвечать ей будут коротко, ничего не расскажут подробно, ничем не поделятся. В глазах испуганная мольба, а тон легкий, светский, этим тоном спрашивают: “Как живете?” – не интересуясь ответом. Я знала, что тон – маскировка, душа моя плакала от жалости, но все равно тон меня раздражал, я ничего не могла с собой поделать, отвечала коротко, даже как-то вызывающе коротко...

Итак, из того домика на окраине мы поздней осенью 1932 года переехали в дом Ягунова. В то время мать имела работу, которая хоть и оплачивалась плохо, но зато отнимала мало времени. Мать числилась ревизором всех библиотек на



иностранных языках (имелись, конечно, в виду русские библиотеки) в Департаменте народного просвещения. Кажется, она получила эту работу благодаря влиятельному китайцу, члену правления КВЖД, детей которого учила английскому (или французскому?) языку. Мать была счастлива, когда назначение было подписано, она на государственной службе. От радости не сразу спросила о размере жалования, а спросив, обомлела: 50 даянов. На это и одному-то прожить было невозможно. Но вот маме объяснили, что китайские правительственные служащие все получают немыслимо маленькие зарплаты, однако – живут, и живут неплохо. Жалование – это формальность, декорум. Все чиновники берут взятки. (Систему оплаты государственных служащих путем сдирания трех шкур с населения я наблюдала затем в гоминдановском Шанхае.)

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.